

78 ДВЕРЕЙ

человеческой души

ТАРО В ИСТОРИЯХ



МАРИЯ ПАСТУХОВА

Мария Пастухова

78 дверей человеческой души

«Автор»

2026

Пастухова М.

78 дверей человеческой души / М. Пастухова — «Автор», 2026

Семьдесят восемь карт Таро — и семьдесят восемь человеческих историй на одном маленьком северном острове. Здесь каждый аркан становится живым человеком. Отшельник — старик на тёмном маяке. Дьявол — две сестры, что заперли себя сами. Восьмёрка Пентаклей — старуха, что всю жизнь вяжет сети. Ни одна история не называет свою карту прямо: её нужно не вычислить, а узнать — как узнают человека, прожив с ним рядом одну сцену. Эта книга не о том, как зазубрить значения, а о том, как прочувствовать каждую карту через тёплую историю. Дочитав, вы возьмёте колоду — и за каждой картой встанет знакомое лицо. А раздел «Ключи» в конце превратит истории в путеводитель по колоде. От автора трилогии о Таро Уэйта. Прежде — система; здесь — люди, что в ней живут. Для тех, кто любит Таро, и для тех, кто просто любит хорошие истории.

© Пастухова М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Почему я написала эту книгу	6
Карта острова	7
Связка ключей	8
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Старшие Арканы	9
ШУТ · На повороте дороги	9
МАГ · Фокус	11
ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА · У тёмной воды	13
ИМПЕРАТРИЦА · Открытые ворота	15
ИМПЕРАТОР · Стена	17
ИЕРОФАНТ · Колокол	19
ВЛЮБЛЁННЫЕ · Меж двух яблонь	21
КОЛЕСНИЦА · Брод	23
СИЛА · Зверь	25
ОТШЕЛЬНИК · Маяк	27
КОЛЕСО ФОРТУНЫ · Мельница	29
СПРАВЕДЛИВОСТЬ · Коромысло	31
ПОВЕШЕННЫЙ · Окно	33
СМЕРТЬ · Жатва	35
УМЕРЕННОСТЬ · Две корзины	37
ДЬЯВОЛ · Чёртова полоса	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Мария Пастухова

78 дверей человеческой души

Table of Contents

title: “78 дверей человеческой души” subtitle: “Таро в историях” author: “Мария Пастухова” lang: ru date: “2026” ...

Почему я написала эту книгу

У меня уже есть три книги о Таро, и все три — про устройство. Я разбирала колоду, как инженер разбирает механизм: искала в ней архитектуру, геометрию, механику — четыре стихии, числа от единицы до десятки, ту логику, по которой одна карта перетекает в другую. Я и вправду верю, что за этими семьюдесятью восемью картинками стоит стройная система, и по-прежнему думаю, что понимать её важнее, чем зубрить значения.

Но чем дольше я живу с этими картами, тем яснее вижу одну вещь, которую ни в какой системе не объяснить.

Можно выучить наизусть все ключевые слова к Пятёрке Кубков — «утрата», «сожаление», «три пролитые чаши» — и всё равно не знать этой карты. По-настоящему её знает не тот, кто вызубрил список, а тот, кто сам однажды стоял над своими пролитыми чашами и не мог обернуться к тем, что ещё целы. Карту нельзя выучить. Её можно только узнать — как узнают человека: прожив с ним рядом хотя бы одну сцену.

Вот из этого и выросла эта книга.

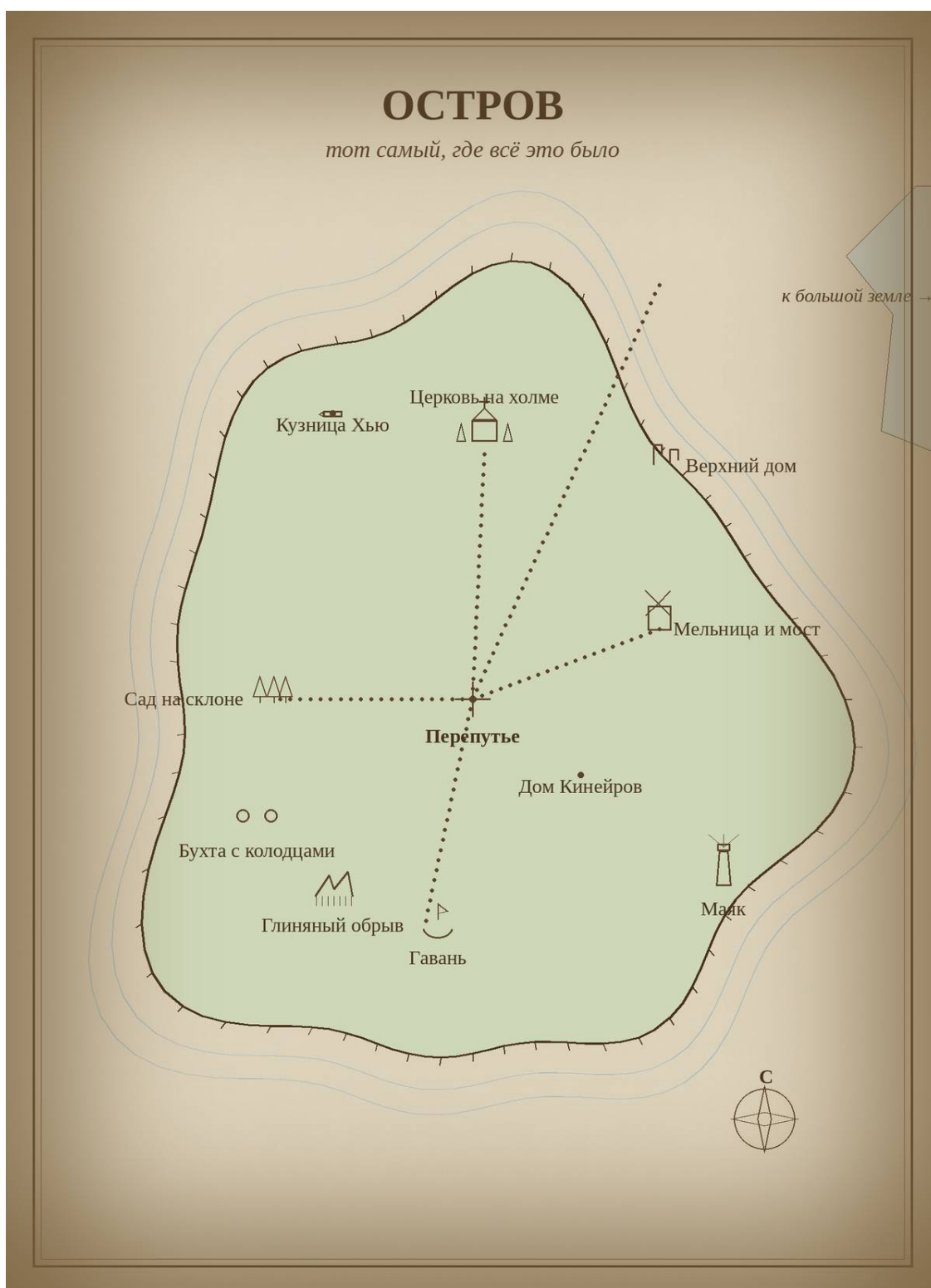
Мне захотелось, чтобы каждая из семидесяти восьми карт перестала быть значком со списком значений и сделалась живым человеком — с лицом, с домом, с бедой и со светом. И тогда я поселила их все на одном маленьком острове и рассказала про каждого историю — тёплую, простую, из тех, что рассказывают у огня. Отшельник стал у меня стариком на маяке. Восьмёрка Пентаклей — старухой, что шестьдесят лет вяжет сети. Дьявол — двумя сёстрами, что заперли себя сами. Ни одна история не называет свою карту прямо, потому что и жизнь не подписывает своих карт; но, дочитав, вы возьмёте колоду, найдёте нужную карту — и вдруг узнаете её, как узнают старого знакомого.

Эта книга не для головы, а для сердца. Мои прежние три — для головы: там чертёж, система, метод, и я ими горжусь. Эту читайте иначе — не изучайте, а проживайте. Не спешите. Входите в каждую комнату, поживите в ней немного, поплачьте или улыбнитесь — и идите дальше. Смысл не в том, чтобы к последней странице вы затвердили семьдесят восемь значений. Смысл в том, чтобы к последней странице у вас в памяти жили семьдесят восемь человек, — а сквозь них вы почувствовали и сами карты, и, может быть, чуть яснее — себя.

А правда ли всё это было и есть ли на свете такой остров — не всё ли равно. Хорошие истории всегда немножко правда.

Ну вот. Дверь открыта. Заходите.

Карта острова



Остров

Связка ключей

Старый Ангус отдал мне два своих железных ключа перед самой смертью, и я, принимая их, уже знал, что беру не право запирать, а долг отворять. С тех пор прошла целая жизнь. Ангуса давно нет, и колокола того нет — а ключи всё при мне, и долг при мне, и вот на старости лет я взялся отворять последнюю дверь, за которой их много.

Я прожил на этом острове весь свой век и знал на нём, кажется, всех. И чем дольше я жил, тем яснее видел одну простую вещь: что всякий человек — это запертая комната. Снаружи — стены, лицо, имя, ремесло; а внутри у каждого своё, невидимое: своя тьма и свой свет, свой страх, своя башня и свой родник. Иные так и прожили при мне взаперти, и никто не заглянул к ним внутрь; а иные отворялись раз в жизни — в беде, в любви, у чужого гроба, — и я успевал увидеть, что там. Остров наш был не деревней, а домом со множеством комнат, и я, звонарь без колокола, потихоньку сделался при этом доме вроде сторожа с ключами.

А потом я состарился и взял в руки старые карты — те самые, что раскладывают гадалки, — и вздрогнул. Потому что их было ровно столько, сколько нужно: семьдесят восемь. Семьдесят восемь картинок — и семьдесят восемь дверей в человеческую душу, ни одной лишней, ни одной недостающей, и за каждой дверью — своя комната, свой житель. На каждой карте стоял кто-то из тех, кого я знал: вот дурак с узелком уходит за поворот, вот скупец над своим сундуком, вот мать с полным горшком, вот тот, кому отказали, а его пустили. Старые картинки только называли то, что я и так видел всю жизнь на живых лицах. И я подумал: отопру-ка я эти комнаты по одной и покажу, кто в них жил.

Вот эта книга и есть связка таких ключей.

Читать её просто. Сперва прочтите историю — как историю, про живого человека, и ни о каких картах не думайте. А после, если у вас есть та самая колода, выньте карту, о которой шла речь (в конце книги, в «Ключах», сказано, какая к какой), и поглядите на неё внимательно — и вы найдёте на ней всё, что сейчас прочли: и двух псов, и монету в горсти, и две скрещённые палки, и собаку, что воет на луну. И карта, прежде немая, вдруг заговорит с вами знакомым голосом — и уже никогда не станет чужой. В этом вся моя корысть: чтоб вы не гадали по этим картам, а узнавали в них людей, а в людях — себя.

Сперва я расскажу вам о Старших — о двадцати двух главных комнатах, о больших поворотах всякой жизни; их я поведу подряд, как идёт сама жизнь, от дурака на пороге до хоровода в конце. А после разложу перед вами Младшие — остальные пятьдесят шесть — уже иначе, как раскладывают колоду: по четырём мастям, по четырём временам года.

Дверей много. Ключей у меня хватит на все. Входите.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Старшие Арканы

ШУТ · На повороте дороги

В то утро мир был так молод, будто его сотворили только этой ночью и не успели ещё ничем испортить. Роса лежала на всём — висела на паутине между стеблями иван-чая крохотными радугами и собиралась в чашечках настурций, откуда падала с тихим, счастливым звоном, которого никто не слышал, кроме тех, кто умеет слушать такие вещи. А слушать их умела в тот час, пожалуй, одна лишь девочка, что вышла за калитку с узелком на палочке через плечо.

Её звали Мэриголд — по-нашему Ноготок, — и мать дала ей это имя в тот год, когда весь палисадник горел рыжим золотом, будто кто-то расплескал по грядкам закатное солнце. Имя ей шло. В ней и вправду было что-то от этого весёлого, неприхотливого цветка, который цветёт себе и цветёт, не спрашивая, любитесь ли им кто-нибудь.

Она уходила из дома в первый раз в жизни — по-настоящему, надолго, за тот дальний холм, где дорога делала поворот и пропадала из глаз, словно ныряла в другой, ещё не виданный мир. За холмом лежало всё, о чём она мечтала долгими зимними вечерами, слушая, как гудит в трубе ветер: города с колокольнями, серебряная полоса моря, о котором говорили, будто оно шумит, как сотня яблонь под ветром, чужие сады и незнакомые добрые люди, которых она пока не знала, но уже заранее любила.

Утро пахло так, что кружилась голова: нагретой пылью дороги, мокрым шиповником, дымком из чьей-то трубы и — совсем чуть-чуть — морем, хотя до моря было ещё далеко. Малиновка на верхушке старой ели заливалась так, будто в целом свете не осталось ни единой причины для печали, и, слушая её, начинало казаться, что так оно и есть.

У последнего дома, там, где кончалась деревня и начиналась настоящая дорога, копался в саду старый мистер Пибоди. Он всю жизнь растил розы и говорил про них так, словно это были его крестники.

— Далеко ли собралась, Ноготок? — окликнул он, разгибая спину и щурясь на неё сквозь утренний свет.

— За холм, — сказала Мэриголд и сама засмеялась тому, как это прозвучало — коротко и огромно.

— За холм! — Старик покачал головой, но глаза его смеялись. — А знаешь ли ты, что там, за холмом-то?

— Не знаю, — ответила она, и что-то внутри у неё качнулось — не то от страха, не то от счастья, а верней, от того и другого разом. — В том-то и вся радость, мистер Пибоди. Кабы я знала, я бы, верно, и не пошла.

Старик посмотрел на неё долго и ласково — так смотрят на что-то очень юное и очень живое, чему немножко завидуешь и за что немножко боишься. Потом молча срезал с куста самую белую, самую первую розу — ту, что раскрылась только нынче на заре и ещё держала росу в сердцевине, — и подал ей через изгородь.

— Возьми с собой, — сказал он только. И, помолчав, прибавил, будто про себя, а не для неё: — Семьдесят лет берегу свои розы на одном месте. А ты нынче за день увидишь больше, чем я за всю жизнь.

Он не сказал, завидует ли. Да этого и не надо было говорить — всё было в том, как бережно он держал розу, пока Мэриголд её не взяла.

Она заткнула цветок за красную косынку — ту самую, что выпросила у матери на прощанье: уходить в новую жизнь в чём-то сером ей казалось прямым оскорблением такого утра. Роза белела на алом, как звезда на закатном небе.

А дальше был холм. Дорога поднималась к нему нехотя, петляя между полей овса, что стояли по пояс и кланялись все разом, когда по ним пробегал ветер, — целое зелёное море, шуршащее и живое. И чем выше она поднималась, тем ближе подходил тот последний гребень, за которым всё исчезало: и дорога, и мир, и то, что будет.

У самого поворота её нагнал пёс. Рыжий, лохматый, ничей — из тех вольных бродячих псов, что прибиваются к путникам единственно из любви к дороге и хорошей компании. Он и не думал спрашивать позволения — просто затрусил рядом, поглядывая на неё снизу вверх с таким видом, будто они уговорились об этом путешествии ещё вчера.

А у самого гребня дорога вдруг подобралась к краю. Земля с одной стороны обрывалась вниз — не пропастью, но круто, каменисто, так что сердце ёкнуло: оступись — и полетишь. И тут даже рыжий пёс замер на самой кромке, повёл носом над обрывом и коротко, тревожно твякнул, будто спрашивал: а надо ли? Мэриголд остановилась рядом.

Внизу, за спиной, лежала вся её прежняя жизнь — милая, уютная, знакомая до последнего гвоздика. Дом с зелёными ставнями. Мать, что стояла сейчас, верно, на крыльце, часто-часто моргая и глядя куда-то поверх изгороди, стараясь, чтоб дочь не заметила. Кот на нагретой ступеньке. Знакомая яблоня, знакомый колодец, знакомое всё. Можно было ещё вернуться. Всякий разумный человек на её месте, верно, вернулся бы — или, по крайней мере, пошёл бы низом, в обход, где ровно и безопасно.

А впереди, за гребнем, не было ничего знакомого. Ровным счётом ничего. Только свет — золотой, дрожащий утренний свет, в котором терялись и обрыв, и дорога, и весь страх заодно.

Она вдохнула поглубже — так, что запах всего утра вошёл в неё разом, — крепче перехватила палочку с узелком, в котором лежало не бог весть что: смена белья, краюшка хлеба, мамин пирог да ещё что-то такое, чего не назовёшь и не взвесишь, но без чего из дому не уходят, — и шагнула мимо обрыва, за поворот. А пёс, ещё раз оглянувшись на надёжный низ, махнул хвостом и кинулся следом.

Мистер Пибоди ещё долго стоял у своей изгороди, опершись на лопату, и глядел на опустевший гребень холма. Он ждал, сам не зная чего, — быть может, что она обернётся, заробеет, повернёт назад, как поворачивали в его памяти многие. Но с той стороны холма, из невидимого золотого далёка, донёсся вдруг звонкий, беспричинный, счастливый смех — её смех, к которому весело подлаивал рыжий пёс.

И старый садовник улыбнулся и снова наклонился к своим розам. Зря, подумал он, зря люди так боятся поворотов дороги. Он и сам всю жизнь боялся — оттого и не ушёл. А ведь за поворотом, если верить этому смеху, никогда не бывает конца. За поворотом всегда только начало.

МАГ · Фокус

Тем летом дожди забыли дорогу к Перепутью.

Деревенька и всегда-то была невелика — горстка домов там, где сходились, будто на минуту присев отдохнуть, четыре дороги: одна с восхода, одна с заката, одна с полудня и одна с полуночи. Но в то сухое лето она словно ещё и посерела вся, до последнего забора. Колодцы обмелели и дышали со дна холодной глиной. Настурции в палисадниках свернулись в жёсткие трубочки. И — что было хуже всякой засухи — люди перестали ждать. Они уже не выходили по вечерам глядеть на закат, не гадали, будет ли дождь, а просто жили дальше, как живут по привычке, и в глазах у них стояла та ровная пыль, что оседает на душу, когда та слишком долго ничего не ждёт.

Одна только Крошка Энн — из тех детей, что видят яснее взрослых, — всё ещё выходила по вечерам на крыльцо глядеть, как садится солнце, хоть и сама не знала зачем.

Странник пришёл с закатной дороги в тот час, когда солнце уже легло на изгороди длинными усталыми полосами.

Он был из тех людей, которых не запомнишь в лицо, зато не забудешь руки. Руки у него были тихие. Он нёс под мышкой складной столик, а больше при нём, кажется, и не было ничего. Дойдя до самой середины перекрёстка — до того места, где четыре дороги на миг делались одной, — он остановился, разложил столик и поставил на него четыре вещи.

Белую ивовую палочку, только что очищенную от коры. Глиняную чашу с водой. Тонкий нож, поймавший лезвием последний свет. И одну медную монету.

А потом сложил свои тихие руки и стал ждать, будто это не он пришёл к деревне, а деревня — к нему.

Люди, само собой, вышли. В таких местах чужой человек — уже событие, а чужой человек со столиком посреди дороги — и вовсе небывалое дело. Собрались, встали полукругом, переглянулись. И, как всегда бывает, вперёд выступил тот, кто больше всех гордился своим здравым смыслом, — мельник Гроувер, человек тяжёлый и трезвый, как жёрнов.

— Фокусник, стало быть, — сказал он, и в голосе его было заранее приготовленное презрение. — Ну, показывай свой фокус. Только уговор: пенни ты у нас не выманишь. Знаем мы вашего брата — ловкость рук да пустой карман.

По толпе прошёл смешок — облегчённый смешок. Ах, вот оно что. Всего лишь ярмарочный плут. Это было понятно, это было привычно, это ничем не грозило. Куда спокойнее верить, что перед тобой мошенник, чем допустить, что перед тобой чудо, — ведь чудо ко многому обязывает, а мошенник ни к чему.

Странник поглядел на них — без обиды, почти ласково.

— Я ничего не продаю, — сказал он тихо. — И пенни мне вашего не надо.

Вот тут-то они и растерялись. Потому что человек, которому ничего от тебя не нужно, — самая непонятная вещь на свете.

— Тогда чего ж тебе надо? — буркнул мельник, сбитый с толку.

— Ничего, — повторил странник. — Я только погляжу, что тут вырастет.

И поднял руки — и в этом простом движении вдруг собралось всё, будто человек всю жизнь готовился только к нему.

Позже об этом рассказывали по-разному, и ни один рассказ не сходился с другим. Но в одном все были согласны: одну руку он поднял высоко к темнеющему небу, ладонью раскрытой, а другую опустил вниз, к дорожной пыли, — будто хотел соединить их собою, стать связкой между тем, что вверху, и тем, что внизу. И замер. И тем, кто умел смотреть, видно было: стоять вот так неподвижно — самый трудный труд на свете, и за этой лёгкостью лежит целая жизнь ученья, как за тихой водой лежит глубина.

И настала тишина — та самая, какая настаёт за миг до первого грома, когда весь мир вдруг подбирается и ждёт. Малиновки смолкли. Ветер приник к земле. И тем, кто стоял ближе, показалось, будто сквозь этого тихого человека что-то пошло — ровно, сильно, без усилия, как идёт вода через открытый шлюз. Поток, у которого словно и не было ни начала, ни конца: он не рождался в страннике и не в страннике кончался — он лишь протекал сквозь него, как свет протекает сквозь окно, ничего у окна не спрашивая.

А четыре вещи на столике будто ответили ему: очищенная ивовая палочка пустила зелёный лист, в глиняной чаше вода поднялась и перелилась через край, лезвие ножа затуманилось росой, и только медная монета лежала тихо, дожидаясь своего часа.

А потом дорожная пыль на перекрёстке дрогнула. Она треснула, как трескается корка на подходящем тесте, и из неё — на глазах у всей онемевшей деревни — пробилась зелень. Не робкий росточек, а сразу целый живой узор: побеги кинулись вверх, свернулись, раскрылись, и вот уже посреди четырёх дорог стоял куст, а на нём, в один и тот же вздох, распустились два цветка — алая роза и белая лилия, красное и белое, бок о бок, как брат и сестра. За ними встали другие. Развилка на глазах зарастала садом, какого в Перепутье не видали и в самые щедрые годы. А где-то в проулке вдруг радостно захлебнулся и зашумел колодец, до краёв полный свежей воды.

Кто-то ахнул. Кто-то заплакал, сам не зная отчего. А мельник Гроувер — тот всё качал головой и бормотал:

— Ловкость рук... зеркальца где-нибудь припрятал... обман это, обман...

Потому что легче было назвать это обманом, чем впустить чудо в свою серую душу.

Крошка Энн протолкалась вперёд, подошла к самому столику и, задрав голову, спросила у странника прямо, как умеют одни дети:

— А как ты это сделал?

Странник посмотрел на неё сверху вниз и в первый раз улыбнулся. Он не стал ничего объяснять. Он только медленно повернул к ней обе ладони — одну кверху, другую книзу — и опять свёл их вместе.

— Ничего своего, — сказал он так тихо, что услышала одна Энн. — Я просто не мешаю тому, что и так хочет расти. Всё уже здесь. Надо только не сжимать кулак.

Наутро его уже не было. Он ушёл по четвёртой дороге — той, что вела на полночь, — и никто не видел когда. Столик исчез вместе с ним. А из четырёх его вещей на пыльном перекрёстке осталась одна — медная монета, поблёскивавшая в росе.

Но сад остался. Он стоял на развилке, зелёный и цветущий, и колодец в проулке был полон, и Перепутье с того дня перестало быть серым.

Деревня так и не сошла с том, что же это было. Половина до самой смерти божилась, что видела чудо. Другая половина — что это был на редкость ловкий пройдоха, который улизнул, не иначе, со стыда. Розы, впрочем, цвели и тем, и другим одинаково, не спрашивая, во что кто верит.

А Крошка Энн подобрала ту медную монету и хранила её всю жизнь. Она никому её не показала и никому не передала, что странник шепнул ей на прощанье. Но выросши, она стала из тех редких людей, у которых всё спорилось и цвело, за что бы ни брались, — и соседи говорили, что она, верно, знает какой-то секрет.

Она и знала. Но секрета в нём было не больше, чем в раскрытой ладони.

ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА · У тёмной воды

О той женщине в наших краях говорили полушёпотом — не со злобой, а с той опаской, с какой говорят о вещах глубже нас.

Днём её никто не видел. Но в те ночи, когда ущербный месяц лежал на боку над чёрными вязами, старухи, случалось, роняли за вязаньем: «Нынче она, поди, у запруды». И все понимали — у какой. Ниже старой мельницы, где ручей, устав бежать, разливался в тихую тёмную заводь, стояли на берегу два пограничных камня, поставленных так давно, что никто уж не помнил кем: один — чёрный, обкатанный, тяжёлый; другой — белый, известковый, светящийся в темноте, как кость. Между ними, говорили, она и садится в лунные ночи и смотрит в воду. И будто бы знает всё, что было, и всё, что будет. И — вот что было страшнее всего — никогда никому этого не скажет.

Дженни пришла туда в полночь, потому что больше идти ей было некуда.

Её сжигал вопрос. Какой — я здесь не назову, потому что вопрос был её, а чужие вопросы называть вслух не годится; довольно и того, что он был из тех, с которыми не спят, — из тех «да или нет», без ответа на которые кажется, будто и жить-то нельзя. Она носила его много дней, и он выел её изнутри, как выедает червь спелое яблоко. И вот, не выдержав, она выбралась из дому в росную темноту и, обмирая от собственной смелости, спустилась тропинкой к запруде.

Женщина была там.

Она сидела между чёрным камнем и белым, ровно посередине, и была вся в чём-то тёмно-синем, что струилось вокруг неё складками и в лунном свете казалось не тканью, а самой водой, поднявшейся и севшей на берег. Лица её Дженни толком не разглядела — женщина сидела чуть склонясь к воде, и лицо оставалось в тени; видна была лишь ясная линия щеки да поблёскивали спокойные, ничему не удивлявшиеся глаза. На коленях у неё лежал свиток, старый, потемневший; палец покоился меж витков, будто заложив нужное место, — но она не разворачивала его. А рядом, на белом камне, лежал разрезанный гранат, и зёрна его тлели в темноте тёмным огнём, но женщина не ела их и, похоже, не собиралась.

Над водой висел тонкий туман — как раз такой, чтобы нельзя было понять, где кончается заводь и начинается тьма. А в самой воде, в чёрном её зеркале, лежал ущербный месяц — целый, ясный, до того настоящий, что хотелось зачерпнуть его ладонью.

— Я пришла спросить, — выговорила Дженни, и голос её дрогнул и упал в тишину, как камешек в колодец. — Говорят, вы всё знаете. Скажите мне — да или нет? Я больше не могу не знать. Пожалуйста.

Женщина не ответила.

Она даже не повернула головы. Только спустя долгое-долгое мгновение медленно, единственный раз, качнула ею — не сердито, не жалея, а просто: нет. И снова обратила лицо к воде, и опять сделалась неподвижной, будто и не было никакой Дженни, будто она сама была третьим камнем на этом берегу.

От этого молчания Дженни стало не по себе — хуже, чем от любого отказа. Отказ хоть был бы словом, за него можно было бы цепляться, спорить, просить. А тут не было ничего, во что упереться, — одна глубокая, полная чем-то своим тишина, в которой её горячий вопрос вдруг показался таким маленьким и таким шумным.

— Ну скажите же! — Слёзы подступили ей к горлу. — Вон свиток у вас — там, верно, всё написано! Дайте только глянуть, одним глазком!

И, сама после не веря, что решилась, она рванулась вперёд — к свитку, к воде, к тайне, чтобы вырвать её, выхватить, вытрясти наконец из этой невозможной тишины хоть что-нибудь.

Женщина не шелохнулась.

А вот вода отозвалась сразу. От рывка, от плеснувшей руки по чёрному зеркалу пошла крупная рябь — и месяц в нём вздрогнул, переломился, брызнул во все стороны дрожащими осколками. Только что был целый — и вот его не стало: расплескался, замутился, ушёл. Дженни в отчаянии зашарила по воде, пытаясь собрать его, удержать хоть кусочек, — но чем больше она хватала, тем сильнее мутилось, тем мельче дробился свет, тем дальше пряталось дно. И тайна, что мгновение назад так ясно лежала в глубине, вся подёрнулась и исчезла в поднятой ею самой мути.

Она отдёргнула мокрые руки. И, задышавшись, взглянула на женщину.

А женщина всё сидела — тихо, ровно, целая и спокойная, как заводь была спокойна прежде, — и глядела в разбитую заводь без единого упрёка. И в этой её неподвижности, в том, как безмятежно она умела просто быть и ждать, было что-то такое, что дошло до Дженни вернее всяких слов. Никто ей ничего не объяснил. Просто рядом сидело само терпение — и стыдно стало суетиться подле него.

И Дженни затихла.

Она опустила на сырую траву у ног женщины, между чёрным камнем и белым, спрятала мокрые ладони в подол и стала просто ждать — без надежды поторопить, как ждут рассвета. Дышать получилось ровнее. Рябь мало-помалу разошлась к берегам. Муть осела на дно. Заводь снова стала гладкой и чёрной. И месяц собрался в ней обратно — целый, ясный, будто его и не разбивали.

Тогда, глядя в тёмную неподвижную воду, Дженни увидела сперва своё собственное лицо — бледное, притихшее, родное. А потом, будто под лицом, глубже отражения, что-то тихо шевельнулось и проступило. Не картинка. Не слово. Не «да» и не «нет». А то ровное, спокойное, полное чувство, какое бывает, когда после долгой возни с узлом руки вдруг сами находят, за какую нитку тянуть, — и ты понимаешь, что знал это с самого начала, только всё не давал себе услышать.

Она узнала свой ответ.

Он поднялся в ней со дна — не с чужого свитка, а из неё самой, — так тихо и так несомненно, что Дженни даже не удивилась. Слёзы высохли. Внутри стало ровно и просторно, как над водой перед зарёй.

Она поднялась. Оглянулась один раз. Женщина всё так же сидела между двух камней, с нераскрытым свитком на коленях и нетронутым гранатом на белом камне, и глядела в чёрную воду, где лежал целый месяц. Она не простилась, не кивнула, не подала знака. Но, уходя, Дженни заметила — или ей почудилось, — что уголок её губ тронула тень улыбки. Будто женщина всё это время знала, чем кончится, и рада была, что не пришлось говорить.

Что за ответ поднялся в ней той ночью, Дженни не рассказала никому. Не потому, что боялась, — а потому, что, попробовав раз или два, поняла: стоит вынуть это на язык, облечь в чужие слова — и оно тускнеет, как тускнеет речная галька, высохнув на солнце. Есть вещи, которые целы, лишь пока молчишь.

Она унесла своё знание с собой, под сердцем, где оно и осталось жить — тихое и тёмное, как вода, в которой отражается луна.

ИМПЕРАТРИЦА · Открытые ворота

Сад матушки Ханны стоял на самой вершине переулка, и всякий, кто поднимался туда в июле, начинал невольно улыбаться ещё на полдороге.

Потому что сад этот родил так, будто и не знал, что где-то на свете бывает скупость. Яблони гнулись до земли задолго до того, как яблокам полагалось налиться. Горох лез через изгородь на волю, стручки лопались от избытка. Мальвы вымахивали выше человека и стояли над тропинкой пёстрой торжественной стражей. Между грядок бежал говорливый ручеёк — тот самый, что ниже разливался в мельничную запруду, — и от него всё зеленело вдвое против обычного. За садом лежало поле, и хлеб на нём к макушке лета делался таким золотым и тяжёлым, что кланялся весь разом, когда по нему проходил ветер, — точно кадил самому солнцу. Гудели пчёлы над лавандой. Над крышей ворковали голуби. Пахло мёдом, тёплой землёй, скошенной травой и розами — розами прежде всего, потому что роз у матушки Ханны было столько, что она их и считать перестала.

И не всё в её саду росло на потребу: добрая половина цвела просто так, ради одной красоты. Срезая поутру розу, матушка Ханна всякий раз медлила, зарывалась в неё лицом и вдыхала долго, с откровенным, почти греховным удовольствием, — будто красота и была той наградой, ради которой всё затевалось.

И всё это она раздавала.

Такая уж она была. Под её рукой родило всё, к чему рука прикасалась, — и всё это тут же шло дальше, из рук в руки. Хворый телёнок, которого всякий другой пустил бы под нож, у неё вставал на ноги и делался первым в стаде. Чахлый черенок, воткнутый в её землю, к осени кустился. Ребятишки со всей округи бегали к ней, как пчёлы на липу, и уходили с полными подоломи — то яблок, то тёплых лепёшек, то ласкового слова, которого дома не доставало. Она была не худая и не молодая, матушка Ханна, — вся тёплая, полная, с руками, что пахли хлебом и геранью, и с сердцем, которого, сколько ни отрезай, меньше не делалось. Про неё говорили, что у неё в переднике не убывает, и это была почти правда.

А раз, давным-давно, на пороге её кухни в морозную ночь оставили корзину. В корзине — младенца, мальчика, тощего и синего от холода. Матушка Ханна взяла его так же просто, как брала озябший черенок: сунула за пазуху, отогрела, выходила. Назвала Финном. И он прижился у неё, как приживалось у неё всё, — вырос под её рукой крепким, ясным, смешливым, и был он ей роднее иных родных.

Вот его-то она и любила больше всего на свете.

Была у матушки Ханны, надо сказать, одна давняя рана, о которой она не рассказывала. В юности она вырастила розу невиданной красоты — белую, с золотой сердцевинкой, единственную такую. И до того затряслась над ней, до того испугалась за неё, что выкопала и внесла в дом: тут-де ни ветер не сломит, ни град не побьёт, ни чужая рука не сорвёт. Спрятала своё сокровище от всего света. И роза в тепле, в безопасности, вдали от дождя и пчёл — зачахла. Побледнела, вытянулась, уронила бутоны нераскрытыми и тихо умерла у неё на руках, под крышей, куда она затащила её из любви. С тех пор руки матушки Ханны знали то, чего голова, может, и не сумела бы выговорить, — что беречь и любить не всегда одно и то же.

И вот пришло лето, когда Финн вырос.

Она увидела это раньше, чем он сказал. Увидела, как он всё чаще застывает у калитки и смотрит вниз, туда, где переулок сбегает с холма и ныряет за поворот, в тот большой неведомый мир, о котором мальчишки грезят с колыбели. Увидела, как ему стало тесно в её щедром, полном, тёплом саду — так тесно, как бывает тесно спелому стручку. И сердце у неё сжалось.

О, как ей хотелось его удержать! Всё материнское, всё тёплое и цепкое в ней поднялось разом и закричало: запри ворота. Скажи, что дороги нынче опасны. Скажи, что без него ты не

управишься с полем. Найди ему невесту тут же, за ближней изгородью. Оставь его при себе, укрой, убереги — как ту розу.

Как ту розу.

Финн ушёл на рассвете, в самую пору жатвы, когда хлеб на поле стоял золотой и тяжёлый и уже пора было пускать в него серп, — потому что перезревшее зерно, если его не сжать и не рассыпать по новой земле, осыпается зря и пропадает попусту. Матушка Ханна поднялась затемно. Она не стала цепляться, не заплакала при нём, не сказала ни единого из тех цепких, удерживающих слов, что всю ночь тёрлись у неё на языке.

Вместо этого она собрала ему в дорогу.

Она делала то, что умели её руки, — давала. Наложила полный узел: свежий каравай, круг сыра, яблок из своего немыслимого сада, мёду в глиняном горшочке. А сверху, помедлив лишь мгновение, положила розу — алую, тугую, только что срезанную, всю в росе и в жизни. Не спрятанную. Срезанную на волю.

Потом она отворила садовые ворота — те самые, что всю жизнь стояли у неё открытыми настежь для всякого, кто поднимался с холма, и которые ей так хотелось нынче впервые запереть, — отворила их широко и придержала рукой.

— Ну, ступай, — сказала она. И всё. Голос у неё был ровный, только глаза блестели.

Финн обнял её — крепко, так что у неё захрустело в спине, — и она вдохнула напоследок его запах, мальчишеский, солнечный, свой. А потом он подхватил узел, засмеялся — тем лёгким, ничем не омрачённым смехом, каким смеётся всякий, кто молод и впервые уходит из дому, — и пошёл вниз по переулку. Она стояла у отворённых ворот и смотрела, как он делается всё меньше, — вот он у поворота, вот махнул рукой, вот нырнул за холм и пропал.

И тогда матушка Ханна отёрла глаза уголком передника — быстро, сердито, чтоб никто не видал, хоть и видеть было некому, — повернулась и пошла обратно в сад. Потому что жатва ждала, и поле стояло спелое, и надо было пускать серп, и рассыпать зерно, и снова сеять, и снова растить то, что вырастет и опять уйдёт за ворота. Такая уж была её доля — и она не знала на свете доли счастливее.

По дороге к дому она наступила на что-то в траве под старой яблоней. Нагнулась. Это было упавшее с ветки перезревшее яблоко — то ли ветром сбило, то ли само налилось до того, что не удержалось. Оно лежало в сырой траве, помятое, отдавшее земле свою сладость. А из тёмного бока его, из бурой мякоти, уже тянулся вверх крохотный бледный росток — тонкий, упрямый, живой.

Матушка Ханна долго смотрела на него. Потом улыбнулась сквозь ещё не высохшие слёзы, оставила яблоко расти, где упало, и пошла ставить чайник.

ИМПЕРАТОР · Стена

Долину эту называли Марровой, и правильно называли, потому что не было в ней ни камня, ни борозды, которых не положил бы старый Эндрю Марр.

Это он, полвека назад, пришёл на голый мыс, где только ветер да гранит, и заставил его родить. Это он сложил из серого камня дом — приземистый, на четыре крепких угла, такой, что и буря его не брала. Это он разбил склон на ровные квадраты полей, обвёл каждый межевой стеной, отвёл ручей в прямое русло и выучил своевольную землю ходить по струнке. А главное — это он поставил вдоль берега великую стену, дамбу против моря: сколько ни бесилось оно осенними ночами, сколько ни кидалось на мыс, стена стояла, и за нею стояла долина.

И сам Эндрю Марр был как та стена. Прямой, серый, тяжёлый, негибачекий. В доме его всё ходило по часам и по правилу: когда вставать, когда молиться, когда сеять, когда молчать. Слово его было закон, и никто в Марровой долине закона этого не преступал — ни человек, ни скотина, ни, кажется, само время года. Люди его уважали. Люди его немного боялись. За глаза его звали Хозяином, и в этом слове было больше почтения, чем любви.

Любить его давно уже было некому. Жену он схоронил молодым и с тех пор не смягчился, а затвердел. А сын... про сына в долине не говорили. Сын у Хозяина был один, Джон, — весёлый, мягкий, шумный мальчишка, весь в покойную мать, — и он вырос под отцовским правилом, как растёт деревце у самой стены: всё тянется на волю, к свету, за ограду. Отец гнул его под свой порядок, как гнул землю. А Джон возьми да и не согни. Он ушёл однажды — сам затворил за собою калитку и спустился дорогой в мир, и больше в Марровой долине его не видали. Отец не окликнул, не удержал, не отворил ворот — только затвердел ещё на камень. Он умел строить стены и не умел строить лишь одного: моста.

Так и жил бы старый Марр до конца в своём каменном, квадратном, безупречном мире, если бы прошлой осенью на дорогу к его дому не свернула повозка, а с повозки не сняли маленький узел — девочку лет шести, тихую, испуганную, с глазами покойной жены и с улыбкой покойного Джона. Флора. Внучка. Джон умер где-то далеко, за морем, и, умирая, отослал дочь единственной родне — той самой стене, от которой сам когда-то бежал.

Хозяин принял её так же, как принимал всё: как долг. Он выделил ей комнату, назначил час завтрака и час сна, положил правило и стал править ею, как правил всем, — прямо, сухо, справедливо и холодно. Он не знал другого способа. Он путал порядок с любовью, как путают их все, кто слишком долго строил стены. А Флора была не камень. Флора была тёплое, живое, непослушное, смешливое — из тех, что оставляют дверцы нараспашку, таскают в дом котят, поют не вовремя и плачут, когда их бранят. И серый дом на четыре угла, где полвека не смеялись, никак не мог взять в толк, что с нею делать.

А потом пришла та ночь.

Она шла с моря — та осенняя буря равноденствия, какая случается раз в поколение. Небо почернело ещё засветло. К ночи ветер выл в трубе, как живой, и море поднялось так, как не поднималось на памяти старейших. Волны шли на мыс стеной, чёрные, с седыми космами, и били в дамбу — раз, и другой, и третий — так, что вздрагивала земля.

И дамба держала.

Вся долина в ту ночь спаслась за стеной Хозяина. Те, кто над его твёрдостью посмеивался, кто строил свои домишки как придётся и жил как живётся, — все они в ту ночь бежали под защиту его камня, его высоких оград, его набитых доверху амбаров, его порядка. Его железная предусмотрительность, над которой было так легко подшучивать в тихие годы, в эту ночь стояла между живыми и морем. Стена, что казалась холодной прихотью сурового старика, оказалась тем, что укрывало всех.

Хозяин стоял у окна, прямой и спокойный, и смотрел, как его стена держит море, и в груди у него была та суровая, законная гордость строителя, которому не стыдно за свою работу.

А потом кто-то крикнул, что нет Флоры.

Её котёнок — тот самый, которого ей не велено было пускать в дом, — с вечера удрал за ограду, к морю, и девочка, углядев в этом свою вину, тихонько выскользнула в бурю его искать. За стену. Туда, где ходило чёрное море.

И старый Марр сделал то, чего не делал за всю свою жизнь ни разу: он нарушил собственное правило.

Он сам, своими руками, отпер тяжёлую штормовую калитку в дамбе — узкую дверь в толще стены, которую по всякому здравому смыслу и по его же нерушимому закону в такую ночь надлежало держать на запоре наглухо, потому что за ней была смерть. Он отворил свою стену — дело всей жизни — и шагнул за неё, в самую ярость, туда, где не было уже ни порядка, ни правила, ни власти, а только ветер, вода и одна маленькая живая душа, которую надо было вынести.

Он нашёл её у самого края, промокшую, окоченевшую, с котёнком за пазухой. Он подхватил её на руки — старые, тяжёлые, оказавшиеся вдруг такими сильными и такими бережными, — и понёс сквозь бурю обратно, за стену, домой. И, прижимая к себе это дрожащее тёплое тельце, он узнал наконец то, чего не понимал полвека: что всё, ради чего он клал камень на камень, было вот этим тёплым и беззащитным, что он нёс сейчас за пазухой; а стена, за которой не осталось живого тепла, — не крепость, а склеп.

Он опоздал понять это для сына. Но не для дочери сына.

Наутро буря улеглась. Дамба выстояла — вся долина была спасена. А в сером доме на четыре угла случилась вещь неслыханная: Хозяин не сказал ни слова про правило, когда мокрый котёнок обсыхал у самого очага, на почётном месте, на тёплом камне, где полагалось бы греться одному лишь Хозяину. Старый Марр сидел в своём тяжёлом каменном кресле — в том, на спинке которого он сам когда-то вырубил крутолобого барана, — и смотрел, как спит на коврике спасённая внучка, и лицо у него было всё такое же суровое и серое, — только глаза уже не были камнем.

А по весне в старой межевой стене, в трещине меж двух гранитных глыб, где отродясь ничего не росло, вдруг пробилась тонкая зелёная былинка — рябиновый росток, неведь как занесённый ветром в камень. Раньше Хозяин выдрал бы его тотчас: непорядок, трещина, изъян в стене. Но старый Марр только поглядел на упрямый росток — на живую зелень, что отыскала лазейку в самое сердце его гранита, в единственную трещину, которой он не сумел заделать за полвека, — и не тронул. Оставил расти.

ИЕРОФАНТ · Колокол

Мне было двенадцать в то лето, когда старый Ангус впервые доверил мне колокольную верёвку, — и я до сих пор помню то утро яснее многих, что были после.

Церковь наша стояла на самой макушке холма, старая, серая, приземистая, и к дверям её вели воротца меж двух древних тисов — таких древних, что, говорили, их посадили ещё те, кто клал первый камень. Тисы стояли по обе стороны, как два тёмных часовых, и между ними всякий, кто входил, невольно замедлял шаг. А над всем — колокол. Ему было двести лет. Двести лет он созывал долину к молитве, отбивал венчания, провожал усопших, гремел на Рождество так, что дрожал снег на еловых лапах, и катил свой голос по всем полям и распадкам, до самых дальних хуторов, — так что и тот, кто отродясь не поднимался на холм, всё равно жил под этим колоколом, от колыбели до могилы.

И хранителем его был старый Ангус.

Пятьдесят лет он звонил в этот колокол. Пятьдесят лет отпирал и запирали тяжёлую дубовую дверь двумя большими железными ключами, что носил на поясе крест-накрест и что от старости и его ладони сделались гладкими, как речная галька. Он знал про церковь всё: какая половица поёт, в какой час солнце ложится на алтарь, сколько раз ударить в колокол по младенцу, сколько по старику. Он был неучёный человек, старый Ангус, и на проповеди сидел в самом заднем ряду, — но я тогда уже смутно чувствовал, а после понял ясно, что он-то и был церкви роднее иного пастора. Пасторы приезжали и уезжали. Ангус оставался, как оставался колокол.

Он учил меня всему молча, больше показом, чем словом. «Не тyani, — говорил он про верёвку, — жди её. Она сама поднимет». И вправду: наловчившись ждать, я потом всю жизнь дивился, как это тяжеленный колокол берёт да и качается будто сам собою, стоит лишь попасть в его ход. Так старый Ангус научил меня и звонить, и, кажется, много ещё чему, о чём тогда не догадывался ни он, ни я.

А в то же лето была у нас на приходе старая Мэг.

Жила она одна на краю пустоши, в покосившейся хибарке, и была, как у нас говорили, «не наша». В церковь она не ходила — не помнили, чтоб хоть раз переступила порог; поговаривали, что в молодости с ней вышла какая-то тёмная история, а под старость она и вовсе одичала: кормила с руки диких птиц, разговаривала сама с собой да с ветром и в почтенных гостиных считалась не то полоумной, не то безбожницей. Дети её сперва дразнили, потом привыкли, а после и полюбили — потому что для детей и для птиц у неё всегда находилась горсть чего-нибудь и доброе слово, а больше, если разобраться, у неё за душой ничего и не было.

И вот в конце того лета старую Мэг нашли в её хибарке холодной. Умерла одна, как и жила.

Тут-то и явил себя старейшина Прингл.

Принглы у нас были самый крепкий, самый праведный и самый нестигаемый род, а старейшина Прингл — праведнее и нестигаемее всех. Он созвал старейшин, и они порешили твёрдо: Мэг «церкви не знала», членом прихода не была, жила во грехе и умерла без покаяния, — а стало быть, ни колоколу по ней звонить не подобает, ни места ей в освящённой земле нет. Пусть похоронят её тихо, за оградой, без звона. Так велит порядок. Так — по правилу.

— Колокол, — сказал старейшина Прингл своим сухим ровным голосом, поглядев отчего-то прямо на старого Ангуса, — колокол в этот раз промолчит.

Старый Ангус ничего не ответил. Он стоял в дверях церкви, между двух своих тисов, скрестив на груди руки, тёмный и молчаливый, и лицо его было как всегда — не разберёшь. Он только чуть склонил голову, будто выслушал, — и всё. Прингл ушёл, довольный, что закон соблюден.

В тот вечер бедную Мэг положили в самый простой сосновый гроб. Провожать её пришли немногие — какая-то дальняя родня да мы, ребяташки, потому что нам было её жалко. Кто-то из девочек — уж не помню кто — набрал на пустоши и у чьих-то оград цветов и положил ей на гроб: диких белых лилий, что росли у ручья, да красных садовых роз. Так и лежала она, отверженная приходом, под розами и лилиями, что принесли ей дети.

А как стемнело, я увидел, что старый Ангус снял с пояса свои два ключа.

Он ничего мне не сказал. Он отпер дверь церкви — той самой, которую велено было держать закрытой, — вошёл в темноту, поднялся по узкой винтовой лесенке на башню, и я, замирая, полез за ним. И там, наверху, под самым колоколом, старый Ангус взялся за вытертую верёвку.

И зазвонил по старой Мэг.

Он звонил не наспех и не украдкой — он звонил полным, тяжёлым, торжественным погребальным звоном, тем самым, каким провожают всякую честную душу: сперва мерные удары, чтобы вся долина услышала и подняла голову, а после — те три раза по три, какими у нас искони «выговаривают» усопшего небу, чтобы там знали, что идёт человек. Голос колокола покатился в ночь, поплыл над чёрными полями, над пустошью, над всеми хуторами — и не было в целой долине ни единой души, что не услышала бы: кто-то умер, и кого-то оплакивают, и кого-то провожают наверх, как положено, честь по чести.

Я стоял рядом и глядел на старого Ангуса. Верёвка ходила в его руках вверх и вниз — вниз к земле, вверх к небу, вниз и вверх, — а он весь подавался за нею, и в полутьме казалось, будто он и сам протянулся между низом и верхом, стал живым мостом, по которому одна отверженная душа уходит наверх — чтобы там приняли ту, кому отказали здесь. Лицо у него было спокойное и светлое, какого я у него сроду не видел.

Он знал, что будет ему за это от старейшин. Он всё равно звонил.

Наутро Прингл, бледный от гнева, потребовал ответа: как он посмел, против решения, против порядка, против закона. Старый Ангус выслушал его молча, всё так же скрестив руки. А потом сказал — не в оправдание, не в поучение, а просто, будто это всё объясняло:

— Она птиц любила.

И больше ничего.

Я много раз потом это вспоминал и всё яснее понимал: он ведь и вправду сказал этим всё. Он не спорил о законе, не толковал Писания — он просто знал руками, всей своей полувековой службой, для чего отлит колокол и для чего кован ключ.

Ключи он мне отдал через несколько лет, перед самой смертью. Большие, гладкие, тёплые от чьих-то рук два железных ключа. И я, принимая их, уже знал — от него, хоть он ни разу не сказал этого вслух, — что беру не право запирать, а долг отворять.

ВЛЮБЛЁННЫЕ · Меж двух яблонь

Кэтлин пришла в сад на закате, потому что дома выбирать было нельзя — там слишком много глядело на неё чужими глазами, а выбрать надо было одной.

Сад стоял в полном цвету. Яблони были в ту пору так осыпаны бело-розовым, что казались облаками, спустившимися отдохнуть на землю, и в тихом вечернем воздухе от них шёл такой густой, медовый, кружащий голову дух, что впору было опьянеть. Заходящее солнце лежало над дальним морем широкой полосой расплавленного золота. Где-то внизу, в гавани, чуть покачивались мачты, и одна из них была та самая, с которой на рассвете уходил корабль.

Наутро Кэтлин должна была дать два ответа.

Один — Роберту. Роберт ждал её ответа спокойно, как спокойно ждал всего в жизни, потому что был из тех надёжных, добрых, основательных людей, которым и ждать-то не страшно. Он предлагал ей руку, и дом, и свою хорошую тёплую ферму в этой самой долине, и всю ту жизнь, какую Кэтлин могла бы, если б захотела, увидеть от начала и до конца, будто прямую дорогу, что бежит к горизонту без единого поворота. Она видела эту жизнь так ясно, что у неё щемило сердце. Тёплую кухню. Детей на этом самом яблоневом склоне. Роберта, сидящего у очага, всё такого же доброго. Старость вдвоём, покойную, как заход солнца в ясный вечер. И ни разу, ни единого разу за всю эту долгую добрую жизнь — ни страха, ни голода, ни ночи без крыши. Это было хорошо. Это было по-настоящему хорошо, и она не смела притворяться, будто это мало.

А второй ответ был Гэвину.

Гэвин уходил на рассвете — за море, на другой край света, искать свою долю, потому что здесь у него не было ничего, кроме беспокойного сердца да пары сильных рук. Накануне ночью он держал её за плечи и глядел на неё так, будто видел её всю, до самого дна, — и она глядела на него так же, потому что с ним, единственным на свете, ей не надо было ничего прятать. «Пойдём со мной, — сказал он. — Я ничего не могу тебе обещать. Может, я сгину. Может, вернусь ни с чем. Может, ты со мной наплачешься. Я знаю только, что без тебя мне идти незачем». Вот и всё, что он мог ей дать: себя да неизвестность. Ни дома, ни завтрашнего дня, ни одного окна, что светило бы ей навстречу.

И Кэтлин стояла в цветущем саду меж двух старых яблонь и выбирала.

Одна яблоня росла над тропинкой, что вела вниз, к тёплым огонькам Робертовой фермы. Была она старая, крепкая, увешанная цветом до земли, — а вокруг тёмного её ствола обвилась, поднимаясь к ветвям, старая одеревенелая лоза, так похожая в сумерках на дремлющую змею, что Кэтлин, взглянув, вздрогнула. И от этой яблони к ней тек тихий, вкрадчивый, разумный шёпот — не злой, о нет, а сладкий и заботливый, как сама осторожность: «Останься. Ты ведь всё видишь наперёд, всё будет хорошо, тепло, надёжно. Зачем бросаться в темень за тем, чего нельзя обещать? Не гневи судьбу. Возьми верное».

А другая яблоня стояла над тропой, что уводила вверх, за холм, к дороге на гавань. Была она моложе, тоньше, вся на юру, — и заходящее солнце ударило в её цвет так, что она вдруг занялась, запылала алым и золотым, будто охваченная тихим пламенем, что не жжёт, а светит. От неё не шло никаких слов. Она просто горела в закатном огне и молчала, и в молчании этом было больше правды, чем во всех разумных доводах первой.

Кэтлин глядела то на одну, то на другую, и сердце её разрывалось надвое, потому что — и это было страшнее всего — обе жизни были настоящие. Обе были хороши. И которую ни возьми, другая умрёт нынче же ночью, тихо, здесь, в этом саду, — и уже не воскреснет никогда. Она вдруг с ужасающей ясностью поняла то, чего не понимала прежде: что выбрать — это не только обрести. Это ещё и убить. Что где-то есть Кэтлин, что останется и будет счастлива с

Робертом, и Кэтлин, что уйдёт и, может быть, пропадёт с Гэвином, — и что одну из этих двух ей предстоит сейчас, своими руками, лишить жизни.

Она долго стояла так, не в силах ступить ни туда, ни сюда. Тёплый шёпот от первой яблони делался всё слаще, всё разумнее, всё убедительнее. И чем слаще он делался, тем яснее она чувствовала: вот оно, настоящее искушение — не буря и не порок, а эта добрая, приторная осторожность.

А потом по саду прошло дыхание.

Не ветер даже — лёгкое движение тёплого воздуха, что сходит порой в вечерний сад будто ниоткуда. Оно прошло высоко над обоими деревьями, над обеими тропами, над всем сладким туманом доводов, тронуло разом обе яблони — и цветущую внизу, и горящую вверху — и стихло, точно кто-то большой и тихий провёл над садом раскрытой ладонью: благословляя, а не указывая. И в глубокой тишине, что настала следом, Кэтлин перестала слушать шёпот и прислушалась к себе. К самому тихому, самому глубокому, самому ясному, что в ней было, — к тому, что не боится и не жаждет, а просто знает. И там, в этой ясной глубине, ответ уже лежал — давно, всю жизнь, — и был он так же несомненен, как та наставшая тишина.

Она заплакала — не от горя и не от радости, а от обоих разом. Она оплакивала ту, другую Кэтлин, добрую жену у тёплого очага, которой уже не суждено было родиться, и Роберта, доброго Роберта, которого она сейчас, здесь, отпускала навсегда, и всю ту светлую, надёжную, никогда не бывшую жизнь. Она оплакивала её честно и горько, потому что та была достойна слёз.

А потом отёрла глаза, повернулась спиной к тёплым огонькам внизу — и пошла вверх по тропинке, под горящей яблоней, к дороге на гавань, навстречу темноте, в которой не светилося для неё ни единого окна.

Правда ли она выбрала — этого я вам не скажу, потому что этого не знала и она сама. Может, за морем её ждало счастье, а может, беда; может, она состарилась подле Гэвина в дальнем краю, а может, вернулась одна и всю жизнь глядела на ту, нижнюю тропу, гадая. Выбор ведь не тем хорош, что верен, — верным его не знает наперёд никто. Он хорош тем, что твой: сделан не из страха и не из корысти, а из самого чистого, что в тебе есть.

Какую из двух своих жизней Кэтлин в тот вечер дала умереть, а какую родила, — про то знали теперь только она, уходящая дорога да ещё, быть может, то тихое дыхание вечера, что прошло тогда над садом и легло, благословляя, ровно посередине между двумя яблонями — той, что цвела внизу, и той, что горела вверху.

КОЛЕСНИЦА · Брод

К ночи Дэнни стало совсем худо, и тогда Бесс поняла, что ехать придётся ей.

Маленький братишка задыхался. С полудня горло его затягивала та страшная плёнка, от которой в те годы уходило столько детей, и теперь каждый вздох давался ему всё труднее, с сиплым свистом, и синева уже подступала к губам. Мать сидела над ним белая как мел и держала его на руках, и в глазах её стояло то, чего Бесс не могла вынести. Помочь мог один доктор Блэр — а доктор Блэр жил за рекой, за холмами, добрых два часа гоним по прибрежной дороге. Отец с обоими старшими братьями третий день был на большой земле. В доме, кроме матери и умирающего мальчика, оставалась одна семнадцатилетняя Бесс.

— Я привезу его, — сказала она. И, не дав себе ни секунды на страх, кинулась в бурю к конюшне.

Гроза уже расходилась вовсю. Ветер гнул черёмуху у крыльца до земли, небо было чёрное, без единой звезды, и первые тяжёлые капли хлестнули её по лицу, как пригоршня гальки. В конюшне, в тёплой темноте, переступали и всхрапывали кони — и Бесс, не раздумывая, вывела обоих: смирную белую кобылу Лебёдушку и молодого вороного мерина, которого на ферме звали просто Вороной и которому ещё не вполне доверяли.

Она взяла обоих не зря. Одна Лебёдушка была надёжна, да тиха на ногу, и такой дороги в такую ночь ей было не одолеть. Один Вороной был быстр, как ветер, чьё имя носил, — да безрассуден, и пустить его одного значило бы разбиться на первом же повороте. Порознь ни тот, ни другая её бы не вывезли. Ей нужны были оба разом — и смирность, и огонь, впряжённые в одну повозку.

Она запрягла их дрожащими руками, вскочила на облучок, разобрала вожжи — и погнала прочь от тёплых жёлтых окон дома, во тьму.

И сразу, с первых же шагов, началось то, что не отпускало её потом всю дорогу. Кони тянули врозь. Белая, пугаясь грома и хлещущей темноты, всё норовила осадить, застыть, вжаться в землю — стать и не двигаться. Вороной от того же страха рвался в другую крайность: закусывал удила и порывался ринуться вслепую, безоглядно, в бешеный намёт, будто хотел ускакать от самого ужаса. Один тянул назад и вниз, другой — вперёд и в пропасть. И вся повозка, вся жизнь Дэнни, всё держалось только на туго натянутых вожжах в руках Бесс да на её воле, что обязана была не дать ни той замереть, ни этому понести.

И страшнее всего было то, что кони эти были не только под нею. Они были и в ней самой.

Потому что и в её собственной груди сидели те же двое. Одна Бесс, помертвев от ужаса, кричала: стой, вернись, это безумие, ты убьёшься и не сможешь никому, останься. Другая, обезумев от того же ужаса, вопила: гони, гони, хлещи что есть силы, ломись напролом, будь что будет. И обе были — страх, только вывернутый в две разные стороны. А посередине, натянув невидимые вожжи, стояла третья Бесс — та, что не поддавалась ни одной, ни другой, а держала обеих и вела дорогу прямо между ними.

Так, держа эту прямую, дрожащую, ежеминутно рвущуюся линию, она гнала сквозь грозу — мимо гнущихся лесов, по размытой дороге, вдоль реющего внизу моря, — пока не вылетела к Мельничному ручью.

И сердце у неё упало.

Ручья не было. Был поток. Гроза вздула его так, что дощатого мостика уже не виднелось — его снесло или скрыло под чёрной, реющей, бешено несущейся водой. Оставался брод — там, где летом курица переходила посуху, а сейчас катился, взблёскивая в темноте, целый бурный речной вал. И надо было идти через него. Другой дороги к доктору не было.

Тут-то оба коня и рванули в последнюю, страшную свою противоположность. Белая, завидев воду, вся осела назад, уперлась, задрожала, отказалась наотрез — ни шагу, стой,

гибель. А Вороной, напротив, вскинулся на дыбы и рванулся в поток очертя голову, слепо, готовый ринуться в стремнину хоть боком, хоть кувырком. Повозку развернуло, накренило, вода была уже у колёс, — и Бесс на один жуткий миг почувствовала, что теряет их, что оба вот-вот вырвутся, каждый в свою сторону, и разнесут в щепы и повозку, и её, и всё.

И тогда, обезумев, она схватила кнут.

Она вскинула его над Вороным — сломить, подхлестнуть, заставить силой, — и обожгла им чёрную дрожащую спину. И в тот же миг поняла, какую совершила ошибку. Вороной от удара взвился ещё бешеней, шарахнулся вбок, чуть не опрокинув всё в стремнину; белая с испугу вовсе присела. Кнут не сломил их страха — он его удвоил. Так она едва не погубила всё — там, у самой воды.

И Бесс отшвырнула кнут в темноту.

Она бросила и вожжи — вернее, они уже ничего не решали, скользкие, бесполезные в этом реве. Осталась она одна, и её голос, и её воля. Она выпрямилась на облучке, вымокшая до нитки, и заговорила с конями — не крича, а тем низким, твёрдым, идущим из самой глубины голосом, какого сама в себе не знала. Она назвала обоих по имени. Она не глушила ни белого страха, ни чёрного огня — она взяла оба и натянула, как две струны, до предела, до звона, и повела их вместе.

Огонь Вороного она пустила вперёд — тот самый порыв в воду, но теперь направленный, её волей нацеленный точно на дальний берег. А осторожность Лебёдушки пустила понизу — пусть та, дрожа, но нащупывает копытом дно, ищет опору в невидимой круговерти. Дикое дало ход. Смирное дало верность шага. И то, чего не мог в одиночку ни один из них, они сделали вместе, впряжённые в одну волю: пошли в чёрную ревущую воду. Вал ударил в колёса, хлынул в повозку, потянул вбок — Бесс держала прямую, держала обоих, держала себя, — и шаг за шагом, дюйм за дюймом упряжка вытянула на тот берег и, содрогнувшись, выволокла повозку из потока на твёрдую землю.

И в этот самый миг тучи над нею разодрались надвое.

Ветер разметал их, и в чёрном разрыве вдруг вспыхнули звёзды — целый ясный, дрожащий, торжественный полог звёзд над её головой, над мокрой повозкой, над двумя храпящими, спасёнными, дымящимися конями. Гроза уходила. Бесс сидела на облучке, вся дрожа мелкой дрожью, и не могла ни пошевелиться, ни заплакать. Она победила — но не так, как думала победить, когда хваталась за кнут. И за эту ночь узнала то, чего не забыла потом никогда: что мастерство — это не удар, а хватка, которую нельзя разжать ни на миг.

К доктору Блэру она домчала под чистыми звёздами и подняла его с постели, и он погнал следом за нею через уже спадавший брод. Дэнни в ту ночь был на волоске — но дожил до утра, и до другого, и вырос потом рослым парнем, и сам не помнил, как однажды сестра провезла его жизнь через ревущую воду.

А Бесс помнила. Всю жизнь, чуть доходило до трудного, она вспоминала тот брод — и то, как отшвырнула кнут, и как держала под звёздами белое и чёрное в одной паре рук, не отпуская ни на волос.

СИЛА · Зверь

Пса, которого вся округа звала Дьяволом, порешили наконец пристрелить в понедельник поутру.

И, если по правде, никто не мог их за это винить. Пёс был громаден — не пёс, а зверь, ростом с телёнка, чёрный, косматый, с жёлтыми глазами и пастью, полной клыков, о которых уже ходили страшные рассказы. Хозяин его, угрюмый пьяница с дальнего хутора, держал его смолоду на короткой цепи, бил чем ни попадя и морил голодом — да и помер прошлой зимой, свалившись под забором в стужу. С той поры зверь одичал вконец. Он рвался с цепи на всякого, кто подходил, хрипел и щёлкал зубами, а раз, сорвавшись, порвал ногу мальчишке, забредшему на пустой двор. И тогда мужчины сказали: довольно. Собаку эту не переучишь и не приручишь — в ней сидит сам дьявол, и добра от неё не будет, покуда она жива. В понедельник её решили извести — по-хорошему, из ружья, чтоб не мучилась и чтоб округа спала спокойно.

И вот тут-то Мэри и попросила отдать ей неделю.

Мэри была тихая. Тихая, неприметная, из тех девушек, на которых не оборачиваются: ни красы особой, ни бойкости, ни того, что зовут характером. Она жила при старой тётке, ходила за чужими курами да больными, говорила мало и краснела, когда на неё смотрели. Никому и в голову не пришло бы назвать Мэри сильной. И когда она, зардевшись, но твёрдо, попросила неделю, прежде чем стрелять, мужчины сперва решили, что ослышались.

— Дитя, — сказал ей кузнец, не злой, а испуганный за неё человек, — да он тебе горло перегрызёт, не успеешь и охнуть. Это не собака. Это смерть на цепи. Иди-ка домой.

Страх их не был глуп. Зверь и вправду мог убить. Но Мэри только сказала, всё так же тихо: «Неделю», — и пошла на пустой хутор.

В первый день она даже не подошла близко. Она села на траву поодаль, как раз на грани того круга, до которого доставала цепь, — сама смерть могла бы её достать, сделай она полшага, — и просто сидела. Пёс кинулся на неё сразу: захрипел, вздыбил чёрную шерсть, забился, натягивая цепь так, что та звенела, брызгал пеной и щёлкал страшными челюстями в воздухе, суля ей растерзание. А Мэри не двинулась. Она не вскрикнула, не отшатнулась, не побледнела даже. Она сидела ровно и спокойно, сложив руки на коленях, и глядела на него без страха и без вызова — просто глядела, как глядят на грозу за окном. И — вот что было всего диковинней — принялась, сидя, плести из клевера венки, будто и не было в двух шагах беснующегося зверя.

Она просидела так до вечера. Зверь надрывался, пока хватало сил, а после умолк, охрип, залёг и стал следить за ней жёлтыми глазами, ничего не понимая. Ушла она, ни разу не сделав к нему ни одного повелевающего, ни одного пугающего движения.

Назавтра она пришла опять. И села чуть ближе. И принесла в переднике мяса — доброго, не объедков, — и, не подходя, откатила кусок к самой его морде, и опять села плести свой клевер. Пёс сперва не притронулся: рычал на мясо, как на ловушку, потому что за всю его жизнь всякая протянутая рука несла ему только боль, и он твёрдо знал, что доброты на свете не бывает. Но к сумеркам голод пересилил, и он, косясь на неё, сожрал кусок. Мэри и бровью не повела.

Так и пошло. День за днём — а Мэри будто и вовсе не было конца её терпению; она приходила и приходила, ровно, без спешки, словно впереди у неё была не неделя и не месяц, а вся вечность. Она подсаживалась всё ближе. Она говорила с ним — тихо, ни о чём, тем небыстрым, тёплым голосом, каким говорят с младенцем или с самой собою. Она никогда его не понуждала, никогда не приказывала, никогда — ни разу — не подняла на него руки. И зверь, привыкший, что руки бьют, а голоса кричат, мало-помалу переставал понимать эту женщину, которая только сидела рядом, кормила его и плела свой клевер.

А раз, на четвёртый или пятый день, он вдруг рванулся к ней — и всерьёз, в упор, всей своей чёрной тяжестью, с оскаленной пастью, — и захлебнулся на самом конце цепи в какой-то ладони от её лица. Всякий бы отпрянул. Мэри не шелохнулась. Она осталась сидеть — так близко, что чувала на щеке его горячее хриплое дыхание, — и не отвела глаз, и не показала страха, потому что страха в ней и не было; было одно спокойное, глубокое, ничем не сдвигаемое упорство, твёрдое, как камень под мягким мхом. И зверь, встретив вместо ужаса эту недвижную кротость, вдруг сам смешался — заворчал, попятился и лёг.

Тогда-то, кажется, что-то в нём и надломилось — не сила его, а страх.

Потому что на другой день Мэри увидела то, чего прежде за яростью было не разглядеть. Она подняла руку — просто поправить волосы, — и громадный зверь, гроза всей округи, вздрогнул и весь сжался, вжал голову, ожидая удара. И тут она поняла про него всё: не дьявол в нём сидел, а один только застарелый, зашедшийся страх — и вся его ярость была криком существа, которому всю жизнь было больно и страшно. И Мэри, вместо того чтобы ударить, медленно-медленно опустила руку — раскрытую, пустую, ласковую ладонь — и положила её зверю на голову.

Он не укусил.

Он застыл под её ладонью, дрожа всем своим огромным телом, — а потом со стоном, почти человеческим, ткнулся тяжёлой мордой ей в колени, будто с плеч его свалилась вся тяжесть его страшной жизни. И Мэри сидела на траве, глядя чёрную косматую голову, и тихонько плакала, и смеялась, и говорила ему, что теперь он больше не Дьявол. Дьявола нет. Есть Лев — вот кто он теперь, большой добрый Лев, — и никто его больше не тронет.

В понедельник, когда мужчины пришли с ружьём, они остановились у хутора как вкопанные. Посреди двора на солнышке сидела тихая Мэри, а рядом лежал, положив ей на колени страшную свою голову, тот самый зверь, и жёлтые глаза его были кротки, как у телёнка. А на косматой чёрной шее его висел венок из клевера — тот самый, что Мэри плела всю неделю и наконец надела на того, кому плела. Она отстегнула цепь — при них, ничего не боясь, — и раскрыла пальцами ту самую пасть, о которой шептались с ужасом, и пасть эта была теперь безобидна, как у ягнёнка. Ружьё так и не понадобилось.

Кузнец — большой, сильный человек, каждый мускул которого был вдесятеро крепче всего, что было в тщедушной Мэри, — стоял, комкая в руках шапку, и не знал, куда девать глаза. Он-то думал, что сила — это его руки, его ружьё, его правота. А оказалось, что самым сильным во всей округе была вот эта тихая девушка, у которой не было ни силы, ни оружия — ничего, кроме бесстрашия и терпения, что не иссякает, и любви, которая не боится зверя, потому что видит под зверем рану.

ОТШЕЛЬНИК · Маяк

Маяк стоял на самом дальнем мысу, там, где земля, устав тянуться в море, обрывалась голой скалой над чёрной водой, — и не было во всей округе места глуше и одиноче. Оттого-то Хелен его и выбрала.

Год назад она потеряла всё, что можно потерять, — и не буду называть здесь, что именно, потому что горе было её, а чужое горе не пересказывают вслух; довольно сказать, что чёрная осенняя вода у здешних скал забрала однажды в бурю того, кого она любила больше жизни, — забрала оттого, что не было в ту ночь на мысу огня, который указал бы ему путь: старый смотритель к той осени вовсе ослеп, и маяк уже которую неделю стоял тёмным, а нового человека всё не находили. После этого мир сделался ей невыносим. Не сама потеря даже — а люди при ней. Их жалостливые лица, их приглушённые голоса, их «бедная Хелен», их суета, чай, соблезнования, добрые советы жить дальше. Она чувствовала, что ещё немного этого тёплого, доброго, невыносимого людского участия — и она закричит. И, когда старый смотритель маяка умер и место освободилось, она сделала то, чего от неё никто не ждал: попросила этот пост себе. Женщине его отдали неохотно, но отдали — охотников на такое затворничество не находилось.

И Хелен ушла на мыс. Ушла, если по правде, не искать чего-то, а спрятаться. Убежать. Задёрнуть за собою темноту и остаться одной, чтобы никто больше не заглядывал ей в лицо.

Первые месяцы она и жила так — как беглец, а не как отшельник. Она исполняла свою работу исправно, потому что была честной: с сумерек зажигала большой фонарь наверху башни, чистила стекло, подрезала фитиль, следила, чтобы огонь горел ровно всю ночь напролёт. Но делала она это без души, механически, как заводят часы. С деревней на дальнем берегу она не знала знаться. Писем не читала. Лодочника, что раз в две недели привозил ей припасы, отпускала, едва перемолвившись словом. Она куталась в серый плащ от вечной стужи, что стояла на этом голом камне, и была холодна и сера, как он. Она хотела одного — чтобы её оставили угасать в темноте, тихо, никому не видной.

Но темнота на мысу была не такая, как темнота среди людей.

Среди людей темноты, по правде, и не бывает — там вечно горит какой-нибудь огонёк, звучит чей-то голос, толчётся чужая жизнь, и за всем этим шумом никогда не слышно себя. А здесь, на краю света, темнота была огромная, настоящая, полная. Долгими зимними ночами Хелен сидела одна у подножия своей башни, над которой ровно горел её огонь, и вокруг не было ничего — только чёрное море внизу, чёрное небо вверху да редкие ясные звёзды, такие близкие и такие безучастные, каких в деревне отродясь не разглядеть. И в этой огромной тишине, где не от кого было прятаться, ей мало-помалу пришлось остаться наедине с единственным человеком, от которого она бежала на самом деле, — с собою.

Никто её этому не учил. Некому было. Просто ночь за ночью, месяц за месяцем одиночество делало свою медленную, тихую работу, которую не сделал бы ни один утешитель. Оно не толкало её «жить дальше», не совало ей чашку чаю, не отводило глаз. Оно только держало её лицом к лицу с её же горем, ровно и терпеливо, как держат больного, — покуда она не перестала наконец бежать и не начала смотреть. И глядя — впервые не сквозь чужую жалость, а своими глазами, одна, в темноте, — она стала понемногу различать в самой этой темноте что-то, чего не видела раньше. Не утешение. Не забвение. А какой-то тихий, глубокий, свой собственный свет, что теплился где-то на самом дне её и не гас, — тот свет, что нельзя ни у кого занять и который зажигается только в темноте, потому что при свете дня его и не заметишь.

Так беглянка на дальнем мысу стала мало-помалу — не сразу, о нет, а за долгую-долгую зиму — отшельницей. А это, оказывается, совсем не одно и то же.

А осенью море вернулось.

Буря налетела с моря к полуночи — злая осенняя буря, родная сестра той, что год назад забрала у Хелен всё. Ветер выл вокруг башни, море вставало на дыбы и било в скалы так, что дрожал камень. И где-то там, в кипящей чёрной мгле, Хелен разглядела огонёк — маленький, беспомощный, пляшущий: рыбацью лодку, застигнутую бурей далеко от дома, что билась среди волн и не знала, куда грести, потому что все берега слились в одну ревущую тьму. Ещё немного — и её понесёт на скалы, на те самые скалы под мысом, у которых год назад...

И вся Хелен поднялась разом.

Она кинулась наверх, к фонарю. Буря рвалась в башню, задувала в щели, металась вокруг пламени, силясь его погасить, — а Хелен, заслоняя огонь собою, подрезала фитиль, чистила застилаемое солёными брызгами стекло, поддерживала, раздувала, берегла свет всеми силами, всем телом, всей душой, чтобы он не дрогнул, не сбился, горел ровно и сильно и слал свой длинный луч через чёрную воду — туда, к пляшущему огоньку, к чужим, незнакомым, неизвестным ей людям, которым сейчас во всём мире не было иной надежды, кроме её одинокого огня на голом мысу. И раз, когда мокрое стекло подёрнулось солёной изморозью брызг, свет в нём преломился и на миг вспыхнул шестилучевой звездой — и снова вытянулся в ровный длинный луч.

И в этот час, держа под бурей свет, которого не было в ту ночь у её любимого, Хелен вдруг узнала то, ради чего, оказывается, и привела её сюда судьба: что она бежала на этот край земли не для того, чтобы спрятаться от людей, а для того, чтобы светить — тем, кого никогда не увидит и не узнает по имени. Её одиночество оказалось не отворотом от мира. Это был самый глубокий поворот к нему.

Она держала свет всю ночь. И к утру, когда буря выдохлась и небо на востоке засерело, маленькая лодка обогнула наконец гибельные скалы — по её лучу, как по нити, — и ушла в спасительную тень залива. Кто в ней был, откуда, куда — Хелен так и не узнала. Да это было и не нужно.

Она осталась на маяке. Не вернулась к людям, не «зажила дальше», как ей когда-то советовали, — так и осталась одна на своём мысу, серая, тихая, наедине с морем и звёздами. Со стороны всё было по-прежнему: одинокая женщина у одинокого огня на краю света. Но теперь это было совсем другое одиночество — не бегство, а свет. И, поднимая каждый вечер свой фонарь над спящим тёмным морем, она больше не была ни несчастна, ни одинока по-настоящему — потому что нет одиночества у того, чей свет виден за много миль всем, кто во тьме.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ · Мельница

На реке ниже деревни стояла старая мельница, а при ней ходило большое черпальное колесо — то, что подымало воду в верхний лоток, — и колесо это не останавливалось ни днём ни ночью, ни зимой ни летом: сколько кто себя помнил, оно всё вертелось и вертелось под напором реки. Ковши его подымались из реки полными, доверху, тяжёлые от блещущей воды; на самом верху, дойдя до вершины, опрокидывались, роняли всё до капли и шли вниз пустыми, чтобы у самого низа снова черпнуть и снова подняться. И так без конца. Ни один ковш не оставался наверху. Ни один не оставался внизу. Верхний становился нижним, нижний — верхним, и вся эта неустанная круговерть держалась на одной невидимой оси в самой сердцевине колеса — на ступице, которая одна во всём этом верчении не двигалась вовсе.

Илай Ройл вырос на этой реке в бедности такой, что и вспоминать совестно. А умер богачом — но об этом после. Сперва про то, как он поднялся.

Поднялся он быстро и высоко. Началось с малого везения: прикупил по дешёвке клочок земли, а земля возьми да и окажись золотой; год выдался урожайный, и другой, и третий; цена на зерно поползла вверх как раз тогда, когда у Илая его было вдоволь; сосед разорился и продал за бесценок именно то поле, что докладывало Илаю до полного богатства. Одно к одному, ковш за ковшом — и вот уже бедный мальчишка с реки стал первым человеком в долине: своя мельница, свои поля, большой дом на холме, почёт, поклонны, лучшая скамья в церкви.

И, как всякий, кого подняло высоко, Илай уверился, что поднялся сам. Что всё это — его ум, его труд, его хватка. Он не был злым человеком, нет; он подавал нищим и жертвовал на приход. Но в глубине души он глядел на тех, кто внизу, чуть-чуть свысока — с той неизбежной, привычной жалостью удачливых, которая хуже всякого презрения: он тихо полагал, что бедны они по своей вине, а он богат по своей заслуге, и что вершина, на которую он взошёл, оттого принадлежит ему по праву и пребудет за ним вовеки. Так думает всякий полный ковш на самом верху колеса — за миг до того, как опрокинуться.

А колесо повернулось.

Не было ни бури, ни пожара, ни злодея — ничего, на что можно было бы указать пальцем. Просто удача, что несла его вверх, так же незаметно и безлично понесла вниз. Пошли худые годы — не по его вине, как и добрые были не по его заслуге. Зерно упало в цене. Банк, которому он доверил своё, тихо лопнул в далёком городе, и деньги Илая исчезли, будто их и не было. Хворь выкосила скот. Один заём потянул за собою другой. И так же ковш за ковшом, только теперь пустеющими, Илай поехал вниз — с той же неумолимостью, с какой прежде подымался. В несколько лет он потерял всё: поля, дом на холме, мельницу, почёт, лучшую скамью. Колесо сделало полный оборот и опустило его туда же, откуда взяло, — на дно, к реке, к бедности.

И вот тут-то, на дне, и открылось, из какого теста он сделан. А сделан он был поначалу из теста горького.

Потому что упавший цепляется за вершину так же слепо, как вознесённый в неё верит. Илай не мог принять своего низа. Он твердил про несправедливость. Он вспоминал, кем был, и не мог снести того, кем стал. Дно казалось ему не поворотом, а приговором, карой, виною — и он носил это дно в себе, как носил прежде свою гордость, и оно жгло его вдвое злее. Ибо отчаяние на дне — родной брат гордыни на вершине: и то и другое от одной и той же слепой веры, будто твоё место на колесе — это ты сам.

Под старость нужда привела его наниматься работником — и, по горькой шутке того самого колеса, нанялся он на свою же бывшую мельницу, что принадлежала теперь другому: человеку, который был беден, когда Илай был богат, и которого удача подняла ровно тогда, когда Илая опустила, — на том же самом обороте, той же самой рекой. И Илай, что владел когда-то этой мельницей, стал теперь ходить за её колесом за поденную плату.

И вот, изо дня в день, с самого низа, он стал глядеть на колесо, которого прежде, владея им, не достаивал и взглядом.

Он глядел, как ковши поднимаются полными и опрокидываются на вершине, роняя всё, и уходят вниз пустыми, и у самого дна снова черпают, и снова поднимаются. Он глядел на это день за днём, месяц за месяцем, — и однажды, сам не заметив когда, вдруг увидел в старом колесе всю свою жизнь. Он был тот полный ковш, что вознёсся на самый верх и вообразил, будто вершина его собственная и навсегда. Он был тот пустой ковш, что рухнул вниз и счёл своё падение виной и несправедливостью. А это было ни то ни другое. Это было просто колесо. Оно не подымало по заслугам и не роняло в наказание — оно вертелось, и всё, и та же вода, что вздымала одного, роняла другого, безлично, безостановочно, извечно. Верх и низ были не два разных места, а одно и то же колесо.

И, поняв это, Илай перевёл наконец взгляд с ободьев на середину — на ступицу.

Там, в самой сердцевине бешеного верчения, была точка, что не подымалась и не падала. Ось. Пока весь обод летел то вверх, то вниз, ступица стояла — тихая, неподвижная, ровная. Всё колесо вертелось только благодаря ей и вокруг неё, а сама она не двигалась вовсе. И Илай понял — не умом, а чем-то, что глубже ума, — что и в человеке есть такая ступица. Что-то, что не есть ни его богатство, ни его нужда, ни вершина, ни дно; что-то, что стоит тихо и ровно, покуда вся судьба его летит то вверх, то вниз. Всю жизнь он прожил на ободке — то ликуя на взлёте, то отчаиваясь в падении, — и ни разу не подумал перебраться к оси. А ведь только там, в неподвижной середине, и можно было устоять, не разбившись о собственную удачу.

С того дня горечь понемногу оставила его. Он не разбогател снова — да и не в том было дело. Он просто перестал цепляться за вершину и перестал отчаиваться на дне; перестал мерить себя тем, наверху он или внизу. Он ходил за старым колесом, и оно всё вертелось, и он вертелся вместе со всем на свете — но теперь у него внутри была своя тихая ступица, и с неё он глядел на верхи и низы своей жизни так же спокойно, как глядел на всходящие и падающие ковши.

А колесо, разумеется, продолжало вертеться. И год спустя новый хозяин, приметив, до чего покоен и сведущ стал старый работник, взял его в товарищи, и дела у Илая опять пошли понемногу в гору. Но это уже почти ничего для него не значило — и оттого-то, может статься, и пошло. Он знал теперь, что и этот подъём не навсегда, что колесо повернётся ещё, и ещё, и ещё. Река не иссякала. Ковши подымались и опрокидывались. Верх делался низом, низ — верхом. А в самой середине, тихая и неподвижная, стояла ступица — и Илай, кажется, впервые за всю свою долгую качельную жизнь нашёл, где ему стоять.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ · Коромысло

За Джудит Кин во всей округе шла слава честного веса.

Она держала деревенскую лавку — ту, что при самом Перепутье, где сходятся четыре дороги, — и была там всем: и хозяйкой, и приказчицей, и весовщицей. На прилавке её стояли старые балансирные весы с двумя медными чашами, и всякий знал: у Джудит коромысло не соvrёт. Она не отсыпала лишнего богатому в угоду и не обвешивала бедного в свою пользу; фунт у неё был фунт, что бы ни лежало на другой чаше — золото ли, медяки ли, любовь ли, вражда. За то её и уважали, и, пожалуй, чуть-чуть побаивались, как побаиваются всякого, кто не гнёт свою меру.

А в ту зиму на деревню свалилась беда: у Дорландов дотла сгорел дом, и вся община в складчину собрала им на новое жильё немалые деньги. Деньги эти, покуда не пришло время строить, хранились в лавке у Джудит — ей одной доверили ключ от кассы, потому что кому ж ещё.

И деньги пропали.

Одним утром касса оказалась пуста. Пропали не деньги Джудит — пропали дорландовские, последняя надежда погорельцев, гроши, собранные со всех вдов и батраков. И деревня загудела, как разворошённый улей, ища виноватого. Искать долго не пришлось. Виноватый, по общему приговору, был ясен: Сет Хаск.

Сет Хаск был человек пропащий. Пил, был в долгах, слонялся без дела, и накануне пропажи его видели у лавки в сумерках. Ни единой души не нашлось бы, кто заступился бы за Хаска; вся деревня и рада была, что вором оказался именно он, — на нём это как-то ловчее всего сидело.

И меньше всех на свете хотелось заступаться за него самой Джудит. Потому что у неё с Сетом Хаском был давний, застарелый счёт: годы назад он обжулил её покойного мужа в одной сделке — обжулил подло, с усмешкой, — и та сделка потянула за собою их разорение и, может статься, укоротила мужу жизнь. Джудит носила эту обиду в себе, как носят под сердцем холодный уголёк, и когда она услышала, что Хаска волокут к ответу, в самой глубине её что-то тёмное шевельнулось и шепнуло: так ему и надо. Пусть падёт. Пусть за эти деньги, которых он не брал, заплатится за всё то, за что до сих пор не заплатился. Мир не обеднеет.

Но Джудит знала, что Сет Хаск дорландовских денег не брал.

Знала твёрдо, вернее верного, — потому что видела, кто их взял. За три ночи до того она спустилась в тёмную лавку на шорох и застала у раскрытой кассы Робби. Своего Робби, младшего брата, которого она, схоронив мать, вынянчила с пелёнок и любила не как брата даже, а как родного сына. Он стоял с деньгами в руках, белый, трясущийся, и, зарывав, во всём ей сознался: карточный долг, стыд, страх, безумная мысль убежать в город, покуда не поздно. Он молил её, как молят о жизни. И Джудит, обмирая, спрятала его беду в себе и стала ждать — сама не зная, чего ждёт.

Теперь ждать было больше нельзя.

Пришли за нею. В лавку набились люди — констебль, старейшины, соседи, — и привели связанного Хаска, и вся деревня жаждала одного: покончить с этим, засудить пропавшего и разойтись. Оставалось малое. Ключ от кассы был у Джудит; лавка была её; веское её слово решало всё. И констебль повернулся к ней и сказал: «Ну, Джудит. Ты одна тут всё знаешь. Видала ли ты что? Твоё слово, и делу конец».

И вот тут-то на её невидимое коромысло разом легли две тяжести.

На одну чашу давила любовь — вся её любовь к Робби, к мальчику, которого она растила, за которого дрожала, единственному родному её существу на свете. Одно слово, одно нетвёрдое «я не разглядела в темноте», один намёк в сторону Хаска — и Робби спасён, и никто, нико-

гда, ни одна живая душа не узнает. А на другую чашу давила ненависть — старый холодный уголёк, что нашёптывал: да ведь и лгать-то почти не придётся, довольно промолчать; и падёт-то не безвинный агнец, а плут, обидчик, поделом; так и обида твоя будет отомщена, и Робби цел.

Обе тяжести давили в одну сторону. И любовь, и ненависть — оба её самых сильных чувства — тянули коромысло к одному: погубить того, кто чист, и укрыть того, кто виновен. Так уж вышло, что чтобы поступить дурно, ей нужно было всего лишь поддаться собственному сердцу — и любящему, и мстящему разом.

Джудит стояла за своим прилавком, у своих честных весов, и глядела на связанного Хаска открытыми, сухими глазами — и видела в нём совершенно ясно всё: и жулика, что ободрал её мужа, и человека, которого ей отчаянно хотелось бы увидеть наказанным. Она не была слепа к нему и не притворялась, будто не помнит зла. Она видела своего врага яснее ясного. А потом перевела взгляд туда, где в дверях, ни жив ни мёртв, белел лицом Робби, — и увидела так же ясно свою любовь. Она видела обоих. И в том-то и была вся мука: держать ровно не вслепую, а с открытыми глазами, зная в точности, кого спасаешь, а кого губишь.

Она молчала долго. А потом взяла свой невидимый обоюдоострый клинок за лезвие — и полоснула им прежде всего по собственной руке.

— Сет Хаск этих денег не брал, — сказала Джудит ровно, тем самым голосом, каким называла честный вес. — Я видела вора своими глазами. Это был мой брат. Это Робби.

В лавке сделалось тихо-тихо. Робби вскрикнул. А Джудит стояла всё так же прямо, только по сухому её лицу вдруг покатались слёзы — потому что справедливость её была не холодна, о нет; она любила мальчика, которого сейчас, своими руками, отдавала на позор, и каждое её ровное слово резало её саму глубже, чем всех, кто слушал.

И, сказав правду, она не бросила своей любви ни на волос. Она вышла из-за прилавка, обняла рыдающего Робби за плечи — крепко, при всех, не стыдясь, — и не отпустила. Она не солгала ради него — но и не отреклась от него. Тут же, при людях, она объявила, что дорландовские деньги возместит из своего, до последнего пенни, и что просит для мальчика милости, ибо он молод, оступился однажды и уже наказан своим стыдом на всю жизнь. Правду она отдала правде — но приговор смягчила, чем могла, милостью, потому что взвесить верно и раздавить насмерть — не одно и то же.

А Сет Хаск, с которого сняли путы, не сказал ни слова. Он только поглядел на Джудит долгим, странным, ничего не просящим взглядом — так глядит человек, которого та, у кого больше всех причин желать ему зла, взяла и спасла одной лишь верностью правде, — и вышел вон в зимнюю ночь, и что творилось у него на душе, не узнал никто.

А на прилавке, в свете лампы, остались стоять старые весы Джудит с двумя пустыми медными чашами и ровным, никуда не склонённым коромыслом.

ПОВЕШЕННЫЙ · Окно

Эйса Уэлд за всю свою жизнь ни разу не выпустил ничего из рук.

Он держал всё сам. Ферму, и дом, и скотину, и поля, и жену, и детей — всё это стояло, по глубокому его убеждению, единственно потому, что он, Эйса, держал это своими двумя руками и своей несдающейся волей, ни на час, ни на минуту не отпуская. Он вставал прежде петухов и ложился за полночь. Он не умел сидеть без дела; праздные руки казались ему чем-то вроде греха. И пуще всего он не умел доверить дело другому: ни жене, ни сыну, ни работнику — никому, потому что всякий, был он уверен, сделает не так, недоглядит, упустит, и всё, что он, Эйса, держит, разом рухнет, стоит ему только выпустить. В том, что он держит, и была вся его цена в собственных глазах. Он не знал себя иным. Он был — руки, которые держат.

А потом, в разгар сенокоса, он оступился на сеновале.

Он потянулся поправить то, что и без него лежало хорошо, — доска подломилась, и Эйса Уэлд, всю жизнь стоявший так прочно, вдруг полетел вниз, кувырком, вверх тормашками, и весь его надёжный мир перевернулся у него перед глазами, покуда он падал. Очнулся он на земле с переломанной спиной и раздробленной ногой.

Не насмерть. Хуже, чем насмерть, — для такого человека.

Его уложили в горнице, на кровать у окна, спиной к тюфяку, и так он и остался лежать — надолго, на месяцы. Спину нельзя было тревожить вовсе; ногу вздёрнули вверх на верёвке, в лубке, к перекладине над кроватью, чтобы срасталась ровно. И вот он лежал навзничь, пригвождённый к постели, с поднятой на верёвке ногой, беспомощный, как перевёрнутый на спину жук, — тот самый Эйса, что держал целый мир, — и не мог теперь удержать даже ложки без чужой помощи. Руки его, большие, привыкшие ко всему руки, лежали поверх одеяла праздные, раскрытые, пустые. Держать было нечего. Держать было нечем.

Первые недели он был как в аду.

Потому что мир-то за окном продолжался — а он не мог наложить на него рук. Там шёл сенокос без него. Там доили коров, чинили изгородь, гнали стадо на выпас — и всё без него, всё чужими руками, всё, по его убеждению, кривь и вкось. Он изводил себя и всех. Он звал жену и наказывал, и переспрашивал, и требовал докладывать ему всякую малость, и метался, и рвался встать — раз даже сполз с кровати и рухнул, и чуть не покалечился насмерть, и его водворили обратно. Он висел на своей верёвке, как висит пойманный зверь на цепи, — не смиряясь, а грызя путы, и оттого мучаясь вдвое. Он не умел сдаться. Отпустить было для него страшнее, чем упасть.

Но мир за окном не спешил рушиться.

Это входило в него медленно, исподволь, против воли — как входит вода в рассохшуюся лодку. Он лежал и глядел в окно, и видел: сено убрано. Убрано без него — и убрано хорошо. Сын, которому он сроду не доверял вожжей, правил повозкой уверенно, как мужчина. Жена Лидия, тихая Лидия, на которую он привык покрикивать, вела дом и хозяйство ровно, спокойно, и всё под её рукой ладилось, и коровы были сыты, и хлеб всходил, и никакая беда не обрушивалась, как он пророчил, оттого что он выпустил вожжи. Мир держался. Держался без его рук. И с этим фактом, простым и упрямым, спорить было нельзя, как ни хотелось.

И тогда — не разом, не в один какой-то громкий час, а тихо, день за днём — Эйса начал разжимать кулак.

Он перестал требовать докладов. Перестал звать по всякой малости. Однажды, когда сын спросил, как быть с нижним полем, он открыл было рот, чтобы, как всегда, распорядиться, — и вдруг закрыл его и сказал только: «Делай, как знаешь, сынок. Тебе виднее там, на ногах». И отвернулся к окну, и — странное дело — небо не упало. Он отпускал по ниточке, по вожже, по руке всё то, что держал всю жизнь, и всякий раз, отпустив, обмирал — а мир стоял. И поне-

многу руки его, лежавшие поверх одеяла, из сжатых сделались раскрытыми уже не поневоле, а взаправду.

А отпустив, он стал видеть. Всю жизнь он так держал, так делал, так был занят, что ему было решительно некогда смотреть. А теперь, пригвождённый навзничь, лишённый всякого дела, он мог только одно — смотреть, — и мир, который он держал сорок лет, впервые открылся ему с изнанки, снизу, из тишины, и оказался совсем не тем, каким он его помнил.

Он увидел, как свет за день медленно, торжественно проходит по стене — от изголовья к изножью, — и это, оказывается, было прекрасно, и он ни разу в жизни этого не заметил. Он услышал, как смеются во дворе его дети, — по-настоящему услышал, впервые, потому что раньше их смех был для него лишь помехой работе. Он поглядел на Лидию, склонившуюся над ним с миской, — и вдруг увидел её лицо, её настоящее, усталое, доброе, всё ещё милое лицо, которого он не видел, кажется, лет двадцать, всё держа да делая, — и что-то сжалось у него в горле так, что он не смог сказать ни слова.

А за окном стояло дерево. Старая яблоня, на которую он прежде и не глядел иначе как прикидывая урожай. Теперь он глядел на неё целыми днями, месяц за месяцем, и она была ему как живые часы. Когда его уложили, она стояла в тяжёлой июльской зелени. Он смотрел, как она роняет по осени лист за листом, покуда не осталась голой и чёрной на сером небе. Он смотрел на неё всю зиму — недвижимую, будто мёртвую, спящую. А после, весной, лёжа всё так же навзничь, он увидел, как по чёрным её ветвям, из будто мёртвого дерева, вдруг снова проступили набухшие почки, и разом, в одну неделю, вся она занялась бело-розовым цветом.

И он, глядевший на неё всю её зимнюю смерть, знал теперь про эту яблоню то, чего не знал ни один занятой человек: что покой её был не смертью, а тайной работой; что дерево, стоявшее всю зиму без дела, недвижимое, «пустое», на деле копило в тишине всю ту силу, которой теперь цвело. Что бывает время держать — и время висеть, отпустив; время делать — и время лежать под яблоней навзничь, покуда в тебе, неведомо для тебя самого, срастается что-то новое.

К лету Эйса встал. Спина срослась, нога срослась — с лёгкой хромотой, что осталась при нём до конца дней, как остаётся всякий след настоящей платы. Он снова взялся за хозяйство. Но это был уже не тот Эйса, что упал с сеновала. Он работал по-прежнему много — но перестал держать всё сам, судорожно, до посинения; он научился отпускать вожжи в другие руки и не обмирать; научился иногда просто сидеть под старой яблоней, ничего не делая, и смотреть, как проходит по земле свет. Прежде он думал, что живёт, когда держит. Теперь он знал — не думал, а знал всем своим переломанным и сросшимся телом, — что те месяцы, когда он не держал ничего, лёжа вверх ногами у окна с пустыми раскрытыми руками, были едва ли не единственными, когда он жил по-настоящему.

А яблоня за окном к осени дала такой урожай, какого на памяти Уэлдов ещё не бывало.

СМЕРТЬ · Жатва

Том Хейл засеял верхнее поле в апреле, а в мае его снесла та самая скорая весенняя лихорадка, что прошла тогда по всему острову, и в июне Лиззи Хейл осталась в двадцать три года вдовой на ферме, которую они с ним только-только начали.

Хоронили Тома на холме, у церкви, и Лиззи положила ему на холмик одну белую розу — и больше ни разу к могиле ничего не носила, потому что настоящую свою могилу устроила дома.

Она ничего не тронула. Его куртка так и осталась висеть на гвозде у двери, а под нею — сапоги, как он их сбросил. Его чашка стояла на полке отдельно, и никто из неё не пил. Часы, что стали в день похорон, она не завела. Она держала дом так, будто Том всего лишь вышел за ворота и вот-вот вернётся, и в этом была для неё единственная возможность дышать: покуда всё как было, значит, ещё не совсем всё.

А наверху, на склоне, стояло его поле.

Он сам его вспахал и сам засеял — последнее, что сделали его руки. И к августу пшеница на нём вымахала густая, тяжёлая, налилась, пожелтела и созрела, и вся округа свезла свой хлеб, а поле Тома Хейла всё стояло.

Лиззи не могла к нему подойти с косой.

Потому что косить — значило рушить. Пока пшеница стояла, поле было живое, оно было его; в этих колосьях, качавшихся на ветру, будто ещё длилось то апрельское утро, когда он шёл по борозде с лукошком, и смеялся, и ветер трепал ему волосы. Занести над этим косу казалось ей вторым убийством. И она не заносила.

А зерно между тем перезревало.

Сперва колосья стояли золотые. Потом стали ронять — при всяком ветре по полю шёл сухой шелест, и зерно сыпалось в землю ни за что. Слетелись птицы и жировали в его поле стаями. Прошли дожди, и снизу, от земли, потянула чернота: колос начал прорастать на корню, темнеть, гнить. Поле портилось стоя. То самое поле, что Том сеял, чтобы кормить их зимою, гило у неё на глазах, — и гило не оттого, что его сжали, а оттого, что не сжали.

Ходила к ней в ту пору миссис Плам — соседка с нижней дороги, женщина обширная и во всём убеждённая, из тех, что никогда в жизни не позволяли факту помешать твёрдому мнению. Она являлась с неизменным своим кексом — тем самым знаменитым кексом миссис Плам, о котором на острове говорили, что им в бурю впору подпирать дверь, — оставляла его на столе, где он и лежал неделями, целый и нетленный, как сам гранит Марровой дамбы, и излагала Лиззи всё, что думает. Думала она много и обо всём: о том, что вдове не годится ходить с непокрытой головой; о том, что паром опять опаздывает и до чего дошло; и о том, что «хлеб-то, милая, стоит».

— Хлеб стоит, — говорила она, тыча пальцем в окно. — Хлеб, милая, стоит.

Лиззи кивала и молчала. И хлеб стоял.

А в сентябре, ночью, поднялся ветер — не буря, а просто крепкий ночной ветер, — и наутро Лиззи вышла и увидела, что половина поля полегла. Колосья лежали вповалку, спутанные, мокрые, чёрные, вбитые в грязь; птицы ходили по ним и клевали. То, что Том сеял своими руками, гнило теперь в земле, не дав ни зерна, — а она сберегла его нетронутым.

Лиззи стояла на меже долго. Потом пошла в сарай и сняла со стены косу.

Она наточила её — сама, как умела; и вышла на верхнее поле; и, помедлив одно долгое мгновение на краю, размахнулась и первый раз ударила косой в его пшеницу.

Ей показалось, что она ударила по живому. Она заплакала — но не остановилась. Она шла и шла, взмах за взмахом, и золотая стена перед нею падала, и падало то апрельское утро, и смеющийся Том с лукошком, и все её «покуда всё как было». Она косила своё горе, потому что

косить было надо. К полудню у неё горели ладони; к вечеру она валилась с ног; но она косила три дня, и соседи, увидев наконец движение на этом поле, пришли и стали ей помогать, и даже миссис Плам явилась вязать снопы и, вяжа, разъяснила всем присутствующим свои взгляды на паром.

Спасти удалось едва половину. Другая половина сгнила и пошла в ничто — та самая, что она сберегала.

Но и половина была хлеб. Снопы свезли, обмолотили, зерно ссыпали в мешки, и часть его — Томово зерно, последний его посев — спустили в гавань и погрузили на паром, и Лиззи стояла на пристани и смотрела, как паром отходит на большую землю, увозя урожай её мужа туда, где его смелют и съедят чужие, незнакомые люди. И, глядя, как он уходит по светлой воде, она не чувствовала ни горя, ни обиды. Она чувствовала — впервые за всё лето — что-то похожее на покой. Работа Тома была доведена до конца. Она не сберегла её — она её завершила.

Домой она вернулась в сумерках, сняла с гвоздя его куртку и отдала батраку, которому нечего было надеть; сапоги — тому, у кого прохудились; чашку поставила обратно ко всем чашкам, потому что чашка — это чашка. Часы завела. Себе оставила одно: его старый нож с костяной рукоятью, который он всегда носил в кармане. Одно — это память. Всё — это могила.

А через неделю она сожгла стерню.

Огонь пошёл по верхнему полю низкими рыжими языками, весело, с треском, и дым потянуло к морю; выгорело всё — и корни, и сорная трава, и та чёрная гниль, что осталась от полёгшей половины; и поле, где стоял хлеб Тома Хейла, сделалось ровным, голым и чёрным, как обугленная доска. Миссис Плам, проходя мимо, заметила, что от дыма страдают её занавески и что она всегда это говорила.

А наутро Лиззи запрягла лошадь и пустила плуг.

Она шла за ним по чёрной выжженной земле, и лемех вспарывал её, и она разваливалась надвое влажными жирными пластами, — тёплая, живая, ничем не занятая земля, готовая принять всё, что в неё положат. И солнце всходило у Лиззи за плечом, над самым краем острова, и длинная её тень с плугом бежала впереди по свежей борозде, и пахло дымом, землёй и осенью.

УМЕРЕННОСТЬ · Две корзины

Джесси Барр родилась в гавани, а замуж вышла на гору, — и оттого всю жизнь была ни рыба ни мясо.

В гавани, среди отцовой родни, все жили морем: пахли морем, ели море, думали морем, а к земле относились с ленивым презрением, как к чему-то, что годится разве что для тех, кто не рискнёт выйти за мол. А наверху, на подветренном склоне, куда Джесси перебралась к своему Алану, жили землёй — и там, наоборот, всё морское почитали за баловство и грязь, а «солёных» с побережья считали народом ненадёжным, безземельным и, что хуже всего, не в церкви крещёным, а прямо в лодке.

И вот Джесси, что выросла босиком на отливе, а теперь ходила за коровой, была для верхних — «солёная», а для нижних — «сухопутная». В гавани над ней подсмеивались, что она навозом пропахла. На горе поджимали губы, что она бежит к воде без всякой надобности. Ни те ни другие не считали её вполне своей, и, по правде говоря, она и сама не знала, чья она.

А поле у них с Аланом было худое.

Верхний склон — он весь такой: тонкий, кислый, выветренный, вылизанный морским ветром до костей. Сколько его ни паши, сколько ни моли, родит он через силу, вполсилы, а на третий год и вовсе устаёт. Тот год выдался хуже прежних. Овёс вышел жидкий и рыжий, картофель — с ноготок. Алан ходил чернее тучи и считал по вечерам мешки, которых не хватало на зиму, и считал их так и эдак, и всякий раз получалось одно и то же.

А внизу, под самым их склоном, где кончалась земля и начиналось море, каждую осень наваливало горами водоросли.

Приливы выбрасывали их валами — целые чёрно-бурые завалы: скользкие ленты, пузырчатая трава, багрянка; они гнили на камнях, воняли на всю округу, и всякий порядочный земледелец на горе полагал их просто мерзостью, каковую Господь по неисповедимой причине насылает на честный берег. «Морская муть, — говаривал старик Дэрроу, ближайший их сосед и первый на склоне знаток всего на свете, — в честной земле ей не место». Старик Дэрроу вообще держался того мнения, что всё, что не растёт на суше, придумано нарочно, чтобы сбивать порядочных людей с толку, и в подтверждение всякий раз приводил случай с угрём, о котором никто, кроме него, отродясь не слыхал.

Но Джесси-то знала другое. Она помнила, как в гавани её тётки таскали ту же самую «муть» на свои крошечные картофельные грядки под скалой — и картофель у них шёл такой, что на горе и не снилось. Знала — и молчала, потому что на горе такое говорить было всё равно что признаться в колдовстве.

А в ту осень, посчитав вместе с Аланом мешки, она надела старые башмаки, взяла корзину и спустилась к воде.

Она стояла на самой кромке — там, где отлив, — одной ногой в воде, другой на суше, как стояла девчонкой сто тысяч раз, и грузила в корзину мокрые скользкие ленты. И носила их наверх, и снова спускалась, и снова носила, — и весь склон глядел на неё, и старик Дэрроу пришёл посмотреть и сказал, что он всегда говорил, что от «солёных» добра не жди.

И — вот тут-то и надо сказать честно — в тот первый год она всё испортила.

Она свалила водоросль на поле как была: сырую, толстым слоем, прямо с моря, полную соли, и запахла. Ей казалось: чем больше, тем лучше. А по весне на том поле взошла беда. Полоса вышла белая — соль выступила коркой, и всё, что там сеялось, посохло на корню, будто ошпаренное. Мёртвая, солёная, звонкая земля.

Смеху было на весь склон. Старик Дэрроу ходил счастливый, как молодой. Алан ничего не сказал, но глядел в землю. А Джесси в ту весну не спала ночей: она думала, что все они

правы — и верхние, и нижние; что море и вправду убивает землю; что и она сама такая же — ни то ни сё, соль в чужой борозде, — и что не надо было ей лезть со своим морем на честную гору.

Только вот бросить она не бросила.

Потому что старик Дэрроу был прав — соль убивает. И тётки в гавани были правы — водоросль кормит. Оба были правы, и оба порознь были ей ни на что не годны. А значит, дело было не в том, мешать или не мешать. Дело было в мере.

И Джесси, всю ту зиму и всё то лето, взялась искать меру.

Она свезла новую водоросль не на поле, а за сарай, и сложила в валы, и оставила под открытым небом — чтобы дожди прошли сквозь неё и вымыли соль, и вода, стекавшая из-под вала, была первое время горькая, а к весне пошла пресная. Она таскала к этому валу две корзины: одну снизу, с моря, — с бурой водорослью; другую сверху, с суши, — с навозом из-под коровы, с сухим папоротником, с золой из своей же печи. И слой за слоем, корзина за корзиной, она перекладывала одно другим и переворачивала вилами, и снова перекладывала, и снова, — море и землю, море и землю, — и мерила, и приглядывалась, и переделывала, покуда не нашла ту единственную пропорцию, при которой куча начинала жить.

К осени в валу за сараем лежала уже не водоросль и не навоз, а нечто третье, чего ни на море, ни на горе отродясь не бывало: чёрное, рассыпчатое, тёплое изнутри, пахнущее не гнилью и не хлебом, а густо, сладко и хлебно — как пахнет сама земля в самое своё удачное утро. Это была не смесь. Это было новое вещество.

Вот его-то она и запахала в верхнее поле — и не наваливая, а ровно столько, сколько было нужно, потому что теперь она знала, сколько.

Про то, что уродилось у Барров на другой год, на склоне говорили долго. Овёс поднялся такой, что Алан только присвистнул. Картофель пришлось копать вдвое дольше обычного, и Алан ворчал на это с таким удовольствием, какого Джесси не слыхала от него годами.

Ходили смотреть. Приходили и сверху, и снизу. Пришёл, само собой, и старик Дэрроу — постоял у изгороди, пожевал губами, поглядел на овёс, который был ему по грудь, и наконец изрёк с большим неудовольствием:

— Это, Джесси, не по-крестьянски.

Из гавани в тот же день приплыл её двоюродный брат — тоже поглядеть, — обошёл поле, поковырял землю, понюхал и сказал с таким же неодобрением:

— И не по-рыбацки это, Джесси.

Джесси выпрямилась, отёрла лоб и оглядела их обоих — верхнего и нижнего, сухопутного и солёного, обоих совершенно уверенных и обоих недовольных.

— Верно, — сказала она. — Не по-крестьянски и не по-рыбацки. По-моему.

И, подхватив свои две корзины — одну снизу, другую сверху, — пошла за новой.

ДЬЯВОЛ · Чёртова полоса

Дом Кинейров стоял на полдороге между Перепутьем и церковным холмом, и всякий приезжий непременно останавливался на него поглядеть, потому что это был единственный на острове дом с двумя парадными дверями, двумя трубами, двумя калитками и одной крышей.

Внутри он был разделён надвое перегородкой, поставленной ровно посередине тридцать лет назад. По левую сторону жила Хестер Кинейр. По правую — её сестра Дженет. Они не разговаривали тридцать лет.

Остров, надо сказать, находил в этом неиссякаемое удовольствие. О сёстрах Кинейр судачили, как о погоде: обстоятельно, с интересом и без всякой надежды на перемены. Обе ходили в церковь, но садились в разные концы. Обе покупали в лавке у Джудит муку — и, встретившись у прилавка, глядели одна сквозь другую с таким безупречным отсутствием интереса, будто вторая была не сестра, а вешалка. Обе держали кур, и куры, не разбираясь в тонкостях, ходили через границу туда и сюда, отчего между сторонами шла тихая, но неутрачивающая войну: Хестер загоняла Дженетиных кур в свой сарай и держала до вечера; Дженет в отместку перевешивала бельевую верёвку так, чтобы мокрая простыня хлестала по Хестериным флоксам.

— Обе они, — говорила миссис Плам, у которой было мнение и об этом, — упрямы, как два жёрнова, и я всегда это говорила.

А посредине, между двумя огородами, шла полоса.

Шесть футов земли, не больше. Когда-то, при матери, там росла малина. Теперь там росли крапива, чертополох да глухая лебеда, потому что ни одна из сестёр не уступила бы этих шести футов и под пыткой, а копать на спорной земле означало бы признать, что она спорная. И потому полоса тридцать лет не родила ничего, кроме сорняка, и на острове её звали чёртовой полосой — не со зла, а так, для краткости.

Всё это было очень смешно, покуда не поглядеть поближе.

А поближе никакого смеха не было. Потому что началось всё не с кур.

Тридцать лет назад умирала их мать. Умирала долго, тяжело, и ходила за ней Хестер — она была старшая и незамужняя, ей и досталось. А Дженет в то время жила на большой земле, была молода, счастлива и приезжала редко. И вышло так, что в последнюю ночь мать звала Дженет — звала и звала, — а Дженет не было; она приехала на другой день, к остывшему уже телу. И вот на поминках, среди чёрных платьев и холодной ветчины, измученная, не спавшая три недели Хестер сказала сестре — тихо, всего одну фразу:

— Она звала тебя. А тебя не было.

И Дженет, у которой это и без того выжигало нутро, ответила ей тоже одной фразой — той, что бьёт по единственному больному месту старой девы, ходившей за матерью потому, что больше ей ходить было не за кем.

Обе фразы были сказаны в одну минуту. И обеиххватило на тридцать лет.

Потому что каждая из них была ранена по-настоящему. У каждой была своя правда, и своя вина, и своя незаживающая ссадина, и — вот тут-то и начинается настоящее — каждая обнаружила, что рану эту можно не залечивать, а кормить.

Это очень сладко — быть обиженной. Слаще, чем принято думать. Тридцать лет Хестер, ложась спать, перебирала свою обиду, как скупец перебирает монеты: вот эта фраза, вот эта неблагодарность, вот эта ночь, когда она одна держала умирающую мать за руку. Она перебирала — и ей делалось горько и хорошо, потому что в этой горечи она была права. Она была правая. У неё за душой не осталось ни мужа, ни детей, ни денег, ни красоты — а правота была, и правота была её единственным богатством, и она берегла её, как берегут последнее.

А по ту сторону перегородки, ложась спать, ровно то же самое делала Дженет.

И обе они за тридцать лет стали меньше. Это ведь незаметно делается. Лица у обеих затвердели и обострились; голоса стали суше; глаза — цепче. Женщины, которые в молодости пели дуэтом на вечеринках и хохотали до слёз над всякой чепухой, превратились в двух подбравшихся, настороженных, мелких старух, что стерегут кур и шесть футов крапивы. Обида съела их, а они, обгладывая её, полагали, что кормятся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.